

ПЕРРИ АНДЕРСОН
РОДОСЛОВНАЯ
АБСОЛЮТИСТСКОГО
ГОСУДАРСТВА



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

Перри Андерсон

Родословная абсолютистского государства

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2889805

*Родословная абсолютистского государства /пер. с англ. И. Куриллы.: Территория будущего;
Москва; 2010*

ISBN 978-5-91129-071-9

Аннотация

Политический характер абсолютизма на протяжении долгого времени был предметом споров среди историков. Развивая идеи, выдвинутые в предыдущей работе («Переходы от античности к феодализму»), выдающийся англо-американский историк Перри Андерсон рассматривает обстоятельства возникновения абсолютистских монархий из кризиса феодализма. Отталкиваясь от тезиса о том, что абсолютистские монархии представляли собой попытку воссоздания феодального государства для защиты интересов правящего класса, автор прослеживает пути различных стран – Испании, Франции, Англии, Италии, Швеции, Пруссии, Польши, Австрии, России, исламского мира и Японии – к рождению национальных государств. В книге показывается отличие западного абсолютизма от восточного и объясняются причины этого различия.

Содержание

Предисловие	4
I	8
1. Абсолютистское государство на Западе	8
2. Класс и государство: проблемы периодизации	25
3. Испания	35
4. Франция	51
5. Англия	68
6. Италия	87
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Перри Андерсон

Родословная абсолютистского государства

Предисловие

Предмет данной работы – попытка сравнительного обзора природы и развития абсолютистского государства в Европе. Его общий характер и пределы как отражение прошлого объяснены в предисловии к исследованию, предваряющему настоящую книгу¹. К этому можно добавить несколько специальных замечаний об отношении предпринятого в данном томе анализа к историческому материализму. Задуманная как марксистское исследование абсолютизма, предлагаемая работа намеренно расположена между двумя разными планами марксистского дискурса, которые обычно размещаются на значительном удалении друг от друга. В последние десятилетия марксистские историки, авторы впечатляющего корпуса монографий, как правило, не всегда давали себе труд задуматься над теоретическими импликациями, поднятыми в их собственных работах. В то же время философы-марксисты, пытавшиеся разъяснить или решить фундаментальные теоретические проблемы исторического материализма, зачастую делали это в отрыве от специальных эмпирических проблем, поставленных историками. В настоящей работе предпринята попытка занять среднюю позицию между двумя названными. Возможно, она послужит лишь отрицательным примером. В любом случае задача нашего исследования – изучить европейский абсолютизм как в общем, так и в частности; так сказать, как «чистые» структуры абсолютистского государства, представляющие собой базовую историческую категорию, так и «нечистые» варианты, представленные особенными и отличавшимися друг от друга монархиями после-средневековой Европы. Эти два уровня реальности в работах современных марксистов обычно разделены пропастью. С одной стороны, ими конструируются или предполагаются «абстрактные» общие модели – не только абсолютистского государства, но и буржуазной революции или капиталистического государства, без обращения к их различным вариантам; с другой стороны, изучаются «конкретные» локальные случаи, без ссылок на их взаимные последствия и взаимосвязь. Условная дихотомия между этими процедурами происходит, несомненно, из широко распространенного мнения, что умопостигаемая необходимость существует только на уровне наиболее общих и широких исторических тенденций, которые действуют, так сказать, «поверх» эмпирических обстоятельств, специфических событий и институтов, сюжет или облик которых обычно непредсказуем. Научные законы – если вообще признается их наличие – считаются действенными только для наиболее универсальных категорий; единичные объекты относятся к области случайного. Практическим результатом этого разделения становится часто то, что общие концепты – такие как абсолютистское государство, буржуазная революция или капиталистическое государство – оказываются настолько далекими от исторической действительности, что теряют всякое объяснительное значение; конкретные же исследования, ограниченные определенными географическими или временными рамками, напротив, не способны привести ни к каким теоретическим обобщениям. Посылкой данной работы является мое убеждение, что не существует непреодолимой черты между необходимостью и случайностью в историческом объяснении, которая бы отделяла друг от друга разные типы исследования – «долгосрочное» от «краткосрочного» или «абстрактное»

¹ Переходы от античности к феодализму.

от «конкретного». Есть только то, что известно – установлено историческими исследованиями, и то, что неизвестно; причем последнее может быть как механизмом отдельного события, так и законами движения целых структур. Оба варианта равно поддаются, в принципе, адекватному анализу их причин. (На практике сохранившееся историческое свидетельство часто бывает настолько недостаточным или противоречивым, что определенное суждение невозможно; однако это другая проблема – обеспеченность источниками, а не умопостигаемость.) Одна из главных причин предпринятого здесь исследования кроется, таким образом, в попытке совместить два уровня рефлексии, которые часто были неоправданно разведены в работах марксистов, ослабляя их способность к рациональному теоретизированию в области истории.

Масштаб предлагаемого ниже исследования отмечен тремя аномалиями или расхождениями с ортодоксальным подходом к предмету. Во-первых, гораздо более длинная родословная линия абсолютизма, очевидная уже в работе, послужившей прологом к настоящей книге. Во-вторых, в границах части света, исследуемой на этих страницах, – Европы – предпринята систематическая попытка эквивалентного исследования ее западной и восточной частей, как это было сделано и в предшествовавшем анализе феодализма. Это не что-то само собой разумеющееся. Хотя разделение на Западную и Восточную Европу представляется интеллектуальным общим местом, оно редко было предметом прямой и непрерывной исторической рефлексии. Последний урожай серьезных работ по европейской истории до некоторой степени исправил традиционный геополитический дисбаланс западной историографии, с характерным для нее невниманием к восточной части Европы. Но до разумного равновесия еще далеко. Более того, необходим не столько простой паритет в освещении двух регионов, сколько сравнительное объяснение их разделения, анализ различий и динамики их взаимосвязей. История Восточной Европы – вовсе не жалкая копия истории Запада, которую можно было бы просто добавить сбоку, не повлияв на изучение последней. Развитие более «отсталых» регионов континента бросает непривычный свет на более «развитые» регионы и часто обнаруживает в их истории новые проблемы, скрытые при ограниченной чисто западной интроспекции. Поэтому, вопреки обычной практике, вертикальное разделение континента между Западом и Востоком проведено в нашем исследовании как центральный организующий принцип изучения материала. В каждой из зон, конечно, всегда существовали большие общественные и политические вариации, и они исследуются и сопоставляются сами по себе. Цель этой процедуры – предложить региональную *типологию*, которая поможет уточнить расходящиеся траектории главных абсолютистских государств как в Восточной, так и в Западной Европе. Такая типология станет, пусть только в виде плана, именно тем промежуточным концептуальным уровнем, которого так часто не хватает в пространстве между общими теоретическими конструкциями и частными случаями-историями, в исследованиях абсолютизма, как и много другого.

В-третьих и последних, выбор *предмета* этого исследования – абсолютистского государства – определил периодизацию, непохожую на обычную для историографии. Традиционные рамки историописания обычно ограничиваются одной страной или узким периодом. Подавляющее большинство квалифицированных исследований проводится строго в рамках национальных границ, и, если работа пересекает их для придания международной перспективы, в ней обычно ограничиваются временные рамки исследуемой эпохи. В любом случае историческое время не представляет проблемы: и в «старомодном» нарративе, и в «современных» социологических исследованиях события и институты погружены в единую и гомогенную темпоральность. Хотя все историки знают, что скорость перемен различается в разных слоях или секторах общества, удобство и привычка обычно диктуют, чтобы форма работы предполагала или предлагала хронологический монизм. Иными словами, его мате-

риалы рассматриваются так, будто они разделяют общее начало и общий конец, протянувшись на один и тот же отрезок времени. В нашем исследовании не существует такой единой темпоральности, поскольку *времена* основных абсолютизмов Европы – как Западной, так и Восточной – были чрезвычайно разными, и это различие само по себе играло важную роль в природе этих государственных систем. Испанский абсолютизм потерпел свое первое серьезное поражение в XVI в. в Нидерландах; английскому абсолютизму снесли голову в середине XVII в.; французский абсолютизм существовал до конца XVIII в.; прусский абсолютизм дожил до конца XIX в.; русский абсолютизм был свергнут только в XX в. Широкий разрыв в датировке этих больших структур неизбежно соотносился с глубокими различиями в их составе и эволюции. Поскольку специальный объект этого исследования составляет весь спектр европейского абсолютизма, то его не покрывает никакая общая темпоральность. История абсолютизма имеет много пересекающихся начал и разрозненных оборванных концов. Лежащее в его основе единство – реально и глубоко, но оно не составляет линейный континуум. Комплексное развитие европейского абсолютизма с его многочисленными разрывами и смещениями от региона к региону лежит в основе изложения исторического материала в этой книге. Здесь опущен весь цикл процессов и событий, которые предопределили триумф капиталистического способа производства в Европе после эпохи раннего Нового времени. Первая буржуазная революция случилась хронологически задолго до последних метаморфоз абсолютизма. Для целей нашей работы они остаются категорически в будущем и будут рассмотрены в следующем исследовании. Следовательно, такие феномены, как первоначальное накопление капитала, начало религиозной реформации, формирование наций, экспансия заморского империализма, начало индустриализации, формально вписывающиеся в хронологические рамки исследуемых нами «периодов и являющиеся современными по отношению к разным фазам европейского абсолютизма, не обсуждаются нами и не исследуются. Их даты – те же. Их времена – различны. Чужая и смешанная история последовательных буржуазных революций нас здесь не интересует: настоящая книга ограничена природой и развитием абсолютистских государств, их политическими предшественниками и противниками. Два последующих исследования будут специально посвящены, в свою очередь, цепи великих буржуазных революций, от восстания Нидерландов до объединения Германии, и структуре современных капиталистических государств, которые в конце концов появились после долгой эволюции. Некоторые из теоретических и политических аргументов, выдвигаемых в этом томе, станут полностью ясны в этих продолжениях.

Наконец, надо, видимо, объяснить выбор *Государства* как центральной темы исследования. Сегодня, когда «история снизу» стала паролем как в марксистских, так и в немарксистских кругах и уже привела к серьезным достижениям в нашем понимании прошлого, надо, тем не менее, вспомнить одну из базовых аксиом исторического материализма: что вековая борьба между классами в конце концов разрешается на *политическом*, а не на экономическом или культурном уровне общества. Другими словами, именно создание и разрушение государств закрепляет фундаментальный сдвиг в отношениях производства до тех пор, пока существуют классы. «История сверху» – история замысловатых механизмов классового господства – не менее существенна, чем «история снизу». В самом деле, без нее последняя остается односторонней (пусть это и лучшая сторона). Вспомним по этому случаю слова Маркса: «Свобода состоит в переходе государства от органа, навязанного обществу, к полностью подчиненному ему, и сегодня также формы государства более или менее свободны в зависимости от того, ограничена ли „свобода“ государства». Полная отмена государства остается век спустя одной из целей революционного социализма. Но высшее значение, придаваемое его конечному исчезновению, свидетельствует о весе его присутствия в истории. Абсолютизм, как первая международная государственная система современного

мира, еще не выдал нам всех своих секретов или уроков. Цель настоящей работы – внести вклад в обсуждение некоторых из них. Ее ошибки, заблуждения, недосмотры, описки, иллюзии остаются открытыми для критики в ходе коллективного обсуждения.

I

Западная Европа

1. Абсолютистское государство на Западе

Длительный кризис европейской экономики и общества, разразившийся в XIV–XV вв., сделал очевидными проблемы, с которыми столкнулся феодальный способ производства в период позднего Средневековья². Каким был окончательный *политический* итог континентальных конвульсий той эпохи? В течение XVI в. на Западе утверждалось абсолютистское государство. Централизованные монархии Франции, Англии и Испании пошли на решительный разрыв с «пирамидами» раздробленного суверенитета средневековых общественных формаций, с их поместной и вассальной системами. Споры об исторической природе этих монархий не утихают со времен Энгельса, который в знаменитом выражении назвал их продуктом классового равновесия между старой феодальной аристократией и новой городской буржуазией: «В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Такова абсолютная монархия XVII–XVIII вв., которая держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга...»³. Множественные оговорки этого пассажа указывают на определенные концептуальные колебания Энгельса. Но, бросив внимательный взгляд на другие тексты Маркса и Энгельса, становится ясно, что именно эта концепция абсолютизма была постоянной темой их работы. Энгельс повторил этот же основной тезис в другом месте в более категоричной форме, отметив, что «базовым условием старой абсолютной монархии» было «равновесие между землевладельческой аристократией и буржуазией»⁴. В самом деле, определение абсолютизма как политического балансира между аристократией и буржуазией часто склоняется к имплицитному или эксплицитному описанию его как буржуазного в своих основаниях государства. Этот сдвиг особенно очевиден в самом «Манифесте коммунистической партии», в котором политическая роль буржуазии «в период мануфактуры» охарактеризована одной фразой как «противовес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа крупных монархий вообще»⁵. Показательно, как авторы здесь незаметно переходят от «противовеса» к «главной основе», что отзывается эхом и в других текстах. Энгельс мог отзывать об эпохе абсолютизма как о времени, когда «феодальная аристократия начала понимать, что период ее социального и политического господства пришел к концу»⁶. Маркс, со своей стороны, постоянно утверждал, что административные структуры новых абсолютистских государств были непосредственно буржуазным инструментом. «При абсолютной монархии, – писал он, – бюрократия была лишь средством подготовки классового господства буржуазии». В другом месте Маркс утверждал,

² См. обсуждение этого вопроса в моей книге *Passages from Antiquity to Feudalism* (London, 1974), которая предшествует данному исследованию.

³ Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Marx-Engels. Werke. Bd. 21. Berlin, 1962. S. 167.

⁴ Zur Wohnungsfrage // Ibid. Bd. 18. S. 258.

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Marx-Engels. Selected Works. Moscow, 1968. P.37; Werke, Bd. 4. S. 464.

⁶ Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie // Marx-Engels. Werke. Bd. 21. S. 398. «Политическое» господство в процитированной фразе означает государственное, Staatliche.

что «централизованное государство, с его вездесущими органами постоянной армии, полиции, бюрократии, духовенства и суда – органами, созданными по плану систематического и иерархического разделения труда, – появилось во времена абсолютной монархии, служившей новорожденному среднему классу в качестве могучего оружия в его борьбе против феодализма»⁷.

Эти размышления об абсолютизме были более или менее случайными и иносказательными – основатели исторического материализма не теоретизировали специально о новых централизованных монархиях, появившихся в ренессансной Европе. Оценка их точного веса была оставлена на суждение будущих поколений. Марксистские историки, фактически, спорят о социальной природе абсолютизма до наших дней. Правильное решение этой проблемы, в самом деле, жизненно важно для понимания как перехода от феодализма к капитализму в Европе, так и политических систем, сопутствовавших этому переходу. Абсолютные монархии создали постоянные армии, бюрократию, ввели налогообложение в масштабах всей страны, кодифицированное законодательство и начала общего рынка – все это характеристики капитализма. Поскольку они совпали с исчезновением крепостного права, стержневого института феодального способа производства в Европе, то и описание абсолютизма Марксом и Энгельсом как государственных систем, представлявших собой либо баланс между буржуазией и аристократией, либо даже прямое господство капитала выглядело правдоподобным. Более тщательное исследование структур абсолютистского государства на Западе, однако, неминуемо ослабляет такое впечатление. Дело в том, что конец крепостничества не означал исчезновения феодальных отношений из села. Отождествление двух процессов – частая ошибка. И все же очевидно, что частное внеэкономическое принуждение, личная зависимость и соединение непосредственного производителя со средствами производства вовсе не обязательно исчезли, когда сельские излишки перестали извлекаться в форме труда или оброка и превратились в денежную ренту. До тех пор пока аристократическая аграрная собственность блокировала свободный рынок земли и фактическую мобильность работников, – другими словами, пока труд не был отделен от социальных условий, для того чтобы стать «рабочей силой», – отношения производства на селе оставались феодальными. Сам Маркс в теоретическом анализе земельной ренты в «Капитале» ясно сформулировал это: «Превращение отработочной ренты в продуктовую ренту, если рассматривать дело с экономической точки зрения, ничего не изменяет в существе земельной ренты. <...> Под денежной рентой мы понимаем здесь <...> земельную ренту, возникающую из простого превращения формы продуктовой ренты, как и она сама, в свою очередь, была лишь превращенной отработочной рентой, <...> базис этого рода ренты, хотя он и идет здесь навстречу своему разложению, все еще остается тот же, как при продуктовой ренте, образующей исходный пункт. Непосредственный производитель по-прежнему является наследственным или вообще традиционным владельцем земли, который должен отдавать земельному собственнику как собственнику существеннейшего условия его производства избыточный принудительный труд, то есть неоплаченный, выполняемый без эквивалента труд в форме прибавочного продукта, превращенного в деньги»⁸.

Феодалы, которые оставались собственниками основных средств производства в любом доиндустриальном обществе, были, конечно, родовитыми землевладельцами. На

⁷ Первая формула из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» (Selected Works. P. 171); вторая – из «Гражданской войны во Франции» (Selected Works. P. 289).

⁸ Маркс К. Капитал: критика политической экономии Т. 3. М., 1985. С. 863–867. Описание Доббом этого фундаментального вопроса в его «ответе» Суизи в ходе знаменитых дебатов в пятидесятые о переходе от феодализма к капитализму было колким и ясным: Science and Society. Vol. 14. N 2. Spring 1950. P. 157–167, особенно P. 163–164. Теоретическая важность проблемы очевидна. В случае с такой страной, как Швеция, например, стандартные исторические работы до сих пор заявляют, что там «не было феодализма» на том основании, что там не было крепостного права. На самом деле, феодальные отношения господствовали в сельской местности Швеции в позднесредневековую эпоху.

протяжении всей эпохи раннего Нового времени господствующим классом, как в экономике, так и в политике, оставался *та же самый класс*, что и в Средневековье: феодальная аристократия. Эта аристократия претерпевала глубокие метаморфозы на протяжении веков после окончания Средневековья; однако от начала и до конца истории абсолютизма она не теряла политической власти.

Изменения *форм* феодальной эксплуатации, происходившие в конце феодальной эпохи, были, конечно, очень значительными. В самом деле, именно эти перемены изменили формы государства. Абсолютизм был по своей сути именно *перенацеленным и перезаряженным* аппаратом феодального господства, созданным для того, чтобы вернуть крестьянские массы на их традиционные социальные позиции – несмотря на и вопреки тем приобретениям, которые они получили в результате замещения повинностей. Другими словами, абсолютистское государство никогда не было беспристрастным арбитром в спорах между аристократией и буржуазией, еще меньше причин назвать его инструментом в руках ново-рожденной буржуазии против аристократии: на самом деле оно было новым политическим щитом, отбивающим удары, направленные против благородного сословия. Консенсусное мнение целого поколения историков-марксистов, от Англии до России, суммировал Хилл 20 лет назад: «Абсолютная монархия была особой формой феодальной монархии, отличавшейся от сословно-представительной монархии, которая ей предшествовала; однако правящие классы оставались теми же самыми, точно так же, как республика, конституционная монархия и фашистская диктатура могут быть разными формами правления буржуазии»⁹. Новая форма власти аристократии была, в свою очередь, предопределена распространением товарного производства и обмена в переходных общественных формациях эпохи раннего Нового времени. Альтюссер точно определил его характер: «Политический режим абсолютной монархии – это всего лишь новая политическая форма, необходимая для поддержания феодального господства и эксплуатации в период развития товарной экономики»¹⁰. Однако нельзя преуменьшать глубину исторической трансформации, связанной с появлением абсолютизма. Напротив, весьма важно ухватить полностью логику и значение той огромной перемены в структуре аристократического государства и феодальной собственности, которая произвела на свет новый феномен – абсолютизм.

Феодализм как способ производства изначально определялся через органическое *единство* экономики и политики, парадоксальным образом распределенное между звеньями цепи раздробленных суверенитетов по всей общественной формации. Институт крепостного права как механизма изъятия излишков соединял экономическую эксплуатацию и политико-юридическое принуждение на молекулярном уровне деревни. Феодал, в свою очередь, обычно был обязан проявлять вассальную лояльность и нести рыцарскую службу для своего сеньора, который считал землю своим исключительным владением. По мере общей замены повинностей на денежную ренту клеточное единство политического и экономического подавления крестьянства серьезно ослабело и угрожало полным распадом (в конце этого пути ждали «свободный труд» и «договор о зарплате»). Таким образом, постепенное

⁹ Hill C. Comment (on the Transition from Feudalism to Capitalism) // Science and Society. Vol. 17. N 4. Fall 1953. P. 351–360. Надо осторожно относиться к словам в этом суждении. Общий эпохальный характер абсолютизма делает любое формальное сравнение с локальными, исключительными фашистскими режимами неуместным.

¹⁰ Althusser L. Montesquieu, Le Politique et l'Histoire, Paris, 1969. P. 117. Я выбрал эту формулировку как недавнюю и репрезентативную. Однако и сегодня встречается вера в капиталистический или квазикапиталистический характер абсолютизма. Пулантас так же опрометчиво классифицирует абсолютистские государства в его во всем остальном хорошей работе Pouvoir Politique et Classes Sociales. P. 169–180, хотя использует неопределенные и двусмысленные фразы. Недавние дебаты о русском абсолютизме в советских исторических журналах также показывают похожие примеры, хотя хронологически они лучше нюансированы; см., например, Аврех А.Ю. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в России // История СССР. 1968. Февраль. С. 83–104. Автор считает абсолютизм «прототипом буржуазного государства» (С. 92). Взгляды Авреха были подвергнуты жесткой критике в последовавших дебатах и не были типичными для содержания этой дискуссии.

исчезновение крепостного права ставило под сомнение классовое господство феодальных хозяев. Результатом стал *сдвиг* политико-юридического принуждения вверх, в сторону централизованной и милитаризованной вершины – абсолютистского государства. Ослабленное на уровне деревни, оно сконцентрировалось на «национальном» уровне. Результатом стал возрожденный аппарат королевской власти, постоянной политической функцией которого было подавление крестьянских и плебейских масс внизу общественной иерархии. Эта новая государственная машина, однако, была по самой своей природе наделена силой, способной подавлять или дисциплинировать индивидов и группы *внутри* самой аристократии. Установление абсолютизма не было, следовательно, как мы видим, мягким эволюционным процессом для самого господствующего класса: оно было отмечено чрезвычайно резкими разрывами и конфликтами среди феодальной аристократии, чьим коллективным интересам оно в конечном счете служило. В то же самое время объективным дополнением к политической концентрации власти на вершине общественного устройства в централизованной монархии была экономическая консолидация феодальной собственности под ней. С развитием товарных отношений распад первичных связей между экономической эксплуатацией и политико-юридическим принуждением вел не только к усилению роли королевской власти в осуществлении второго, но и к компенсаторному укреплению прав собственности, гарантировавших первое. Другими словами, вместе с реорганизацией феодальной политической системы в целом и разжижением оригинальной системы феодалов, владение землей делалось все менее «условным», по мере того как суверенитет становился все более «абсолютным». Ослабление средневековых концепций вассалитета приводило к двум результатам: оно придавало новую чрезвычайную власть монархии, в то же самое время освобождая от традиционных ограничений владения аристократии. Аграрная собственность в новую эпоху была молчаливо превращена в безусловно наследственную (аллодиальную, используя термин, который сам становился анахронизмом в изменившемся юридическом климате). Индивидуальные члены аристократического класса, которые постепенно теряли политические права представительства в новую эпоху, получали в качестве другой стороны того же процесса экономические приобретения в форме собственности. Окончательным результатом этого общего передела социальной власти аристократии было создание государственной машины и юридического порядка абсолютизма, целью которых было увеличение эффективности аристократического правления путем принуждения некрепостного крестьянства к новым формам зависимости и эксплуатации. Королевские государства эпохи Ренессанса были первыми и передовыми модернизационными инструментами в поддержании господства аристократии над сельским населением.

Одновременно, однако, аристократия вынуждена была приспособливаться и ко второму антагонисту – торговой буржуазии, которая появилась в средневековых городах. Как было показано, именно наличие этой третьей прослойки не позволило западной аристократии решить свои проблемы с крестьянством по восточному образцу, сокрушив его сопротивление и прикрепив его к поместью. Средневековый город смог развиваться в результате того, что иерархическое распределение суверенитетов при феодальном способе производства впервые освободило городские экономики от прямого господства сельского правящего класса¹¹.

¹¹ Знаменитые дебаты между Суизи (Sweezy) и Доббом (Dobb), в которых приняли также участие Такахаши (Takahashi), Хилтон (Hilton) и Хилл (Hill), в журнале *Science and Society* (1950. Vol.3), остаются до наших дней единственным систематическим марксистским анализом центральных проблем перехода от феодализма к капитализму. В одном важном отношении, однако, они велись вокруг неверной проблемы. Суизи (вслед за Пиренном) доказывал, что «первичным движителем» в переходе был «внешний» агент разложения – городские анклавные, которые разрушили феодальную аграрную экономику посредством расширения товарного обмена в городах. Добб отвечал, что толчок к развитию надо искать в противоречиях самой аграрной экономики, которая порождала социальную дифференциацию крестьянства и подъем мелкого производителя. В последующем эссе на эту тему Вилар (Vilar) недвусмысленно сформулировал проблему перехода как проблему

Города не создавались внешними для западного феодализма факторами, главным условием их существования была уникальная «детotalизация» суверенитета в политэкономическом порядке феодализма. Это объясняет гибкость городов на Западе во время тяжелейшего кризиса XIV в., который временно обанкротил множество патрицианских семей в средиземноморских городах. Барди и Перуджи потерпели крах во Флоренции, Сиена и Барселона пришли в упадок; однако Аугсбург, Женева или Валенсия только начинали свой подъем. Важнейшие городские производства-изготовление железа, бумаги и тканей – росли, несмотря на феодальную депрессию. Сохраняя внешнюю дистанцию от аграрных проблем, сама эта экономическая и социальная жизнестойкость являлась постоянным раздражителем в ходе классовой борьбы и блокировала любые регрессивные поползновения аристократии. В самом деле, важно, что именно в 1450–1500 гг., когда на Западе появились первые предшественники унифицированных абсолютных монархий, был преодолен и долгий кризис феодальной экономики. Это стало возможным благодаря рекомбинации производственных факторов, ведущую роль в которой впервые сыграли специфически *городские* технологические достижения. Концентрация изобретений, совпавшая с переломом между «средневековой» и «современной» эпохами слишком хорошо известна, чтобы обсуждать ее здесь. Открытие процесса аффинажа (*seiger*) для отделения серебра от медной руды возобновило работу шахт в Центральной Европе и поток металлов в международную экономику; за 1460–1530 гг. производство монеты в Центральной Европе выросло в 5 раз. Развитие литых бронзовых пушек впервые сделало порох решающим орудием войны, превратив замки баронов в анахронизм. Изобретение наборных литер положило начало книгопечатанию. Конструирование трехмачтовых управляемых с кормы галеонов сделало океаны преодолимыми и положило начало заморским завоеваниям¹². Все эти технические прорывы, заложившие основы европейского Возрождения, произошли во второй половине XV в., и именно тогда прекратилась вековая аграрная депрессия – в Англии и Франции это произошло примерно к 1470 г.

Это была именно та эпоха, когда неожиданное восстановление политической власти и единства происходило в одной стране за другой. Из пропасти крайнего феодального хаоса и беспорядка времен войны Алой и Белой розы, Столетней войны и второй кастильской гражданской войны, практически одновременно появились и первые «новые» монархии в правление Людовика XI во Франции, Фердинанда и Изабеллы в Испании, Генриха VII в Англии и Максимилиана в Австрии. Таким образом, когда на Западе возникали абсолютистские государства, их структура была в своем основании определена перегруппировкой феодалов против крестьянства после отмены крепостного права; однако затем она была *переопределена* подъемом городской буржуазии, которая после серии технических и коммерческих достижений развивала доиндустриальную мануфактуру. Именно это вторичное влияние городской буржуазии на формы абсолютистского государства отметили Маркс и Энгельс в своих

определения правильной комбинации «эндогенных» аграрных и «экзогенных» «торгово-городских» перемен, при этом подчеркивая важность новой экономики атлантической торговли в XVI в.: см.: Problems in the Formation of Capitalism // Past and Present. 1956. N 10. P 33–34. В важном недавнем исследовании *The Relations between Town and Country in the Transition from Feudalism to Capitalism* (неопубликовано) Джон Меррингтон (John Merrington) эффективно разрешил эту антиномию, продемонстрировав базовую истину, что европейский феодализм вовсе не был исключительно аграрной экономикой, а был первым способом производства в истории, предоставившим автономное структурное место городскому производству и обмену. Рост городов был в этом смысле таким же «внутренним» развитием западноевропейского феодализма, как и разложение манора.

¹² О пушках и галеонах см.: Cipotta C. Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion, 1400–1700. London, 1965. О книгопечатании самые смелые размышления, хотя и подпорченные мономанией, известной историкам технологий, недавно предложила Элизабет Эйзенштайн: см. Eisenstein E. Some Conjectures about the Impact of Printing on Western Society and Thought: a Preliminary Report // Journal of Modern History. 1968. March – December. P. 1–56, а также The Advent of Printing and the Problem of Renaissance // Past and Present. 1969. N 45. P. 19–89. Главные технические изобретения той эпохи могут быть рассмотрены как вариации на общем поле коммуникаций. Они затрагивали соответственно деньги, язык, путешествия и войну – в более поздний период все это стало великими философскими темами Просвещения.

вводящих в заблуждение представлениях о «противовесе» и «главной основе». Энгельс не раз достаточно аккуратно описывал настоящее соотношение сил: обсуждая новые морские открытия и мануфактуры времен Возрождения, он писал, что «за этим колоссальным переворотом в экономических условиях жизни общества не последовало немедленно соответственное изменение его политической структуры. Государственный строй оставался по-прежнему феодальным, в то время как общество становилось все более и более буржуазным»¹³. Угроза крестьянского недовольства, незримо конституировавшая абсолютистское государство, всегда, таким образом, сочеталась с давлением торгового или мануфактурного капитала внутри западных экономик, отливая контуры классового господства аристократии в новую эпоху. Конкретная форма абсолютистского государства на Западе стала результатом действия двух этих факторов.

Двойственные силы, которые произвели на свет новые монархии Европы эпохи Ренессанса, нашли единую юридическую форму. Возрождение римского права, одно из великих культурных достижений эпохи, одинаково соответствовало нуждам обоих социальных классов, чья сила и положение оформили структуру абсолютистского государства на Западе. Новое открытие римского права восходит к эпохе Высокого Средневековья. Все более прочное установление обычного права не смогло полностью стереть память о нем и практику римского гражданского права на том полуострове, где его традиции были самыми долгими, — в Италии. Именно в Болонье Ирнерий, «светоч закона» (*lamp of the law*), начал систематическое изучение кодексов Юстиниана в начале XII в. Основанная им школа глоссаторов методически воспроизводила и классифицировала наследие римских юристов на протяжении следующей сотни лет. За ними последовала школа комментаторов XIV–XV вв., более заинтересованных в современном приложении римских правовых норм, чем в научном анализе их теоретических принципов; в процессе адаптации римского права к резко изменившимся условиям времени они исказили его первоначальную форму и очистили его от частного содержания¹⁴. Сама неточность перевода ими латинской юриспруденции парадоксальным образом «универсализировала» ее, удаляя большие порции римского гражданского права, строго привязанные к историческим условиям античности (например, конечно же, всестороннее рассмотрение вопросов рабства)¹⁵. Римские юридические концепции начали распро-

¹³ Энгельс Ф. Анти-Дюринг. С.105. (Anti-Duhring. Moscow, 1947. P. 126). См. также P. 196–197, где смешаны верные и неверные формулы. Эти страницы цитировались Хиллом в его Комментариях, где он пытается оправдать Энгельса за ошибочное положение о «равновесии». В целом у Маркса и у Энгельса можно найти пассажи, в которых абсолютизм описывается более адекватно, чем в цитированных выше текстах. (Например, в самом «Манифесте Коммунистической партии» есть прямое упоминание «феодалного абсолютизма».) Было бы странным, если бы этого не было, поскольку логическим следствием из признания абсолютизма буржуазным или полубуржуазным стал бы отказ в реальности самих буржуазных революций в Западной Европе. Однако несомненно, что, несмотря на повторяющуюся путаницу, главный дрейф их комментариев был направлен к концепции «равновесия» с сопутствующим ей сдвигом к идее «главной основы». Нет нужды скрывать этот факт. Огромное интеллектуальное и политическое уважение, которое мы питаем к Марксу и Энгельсу, несовместимо с любым благоговением перед ними. Их ошибки — часто более плодотворные, чем истины у других, — не должны скрываться, их надо обнаруживать и преодолевать. Здесь необходимо еще одно предупреждение. Долгое время было модным преуменьшать вклад Энгельса в создание исторического материализма. Для тех, кто до сих пор расположен придерживаться этой точки зрения, необходимо сказать спокойно, хотя и провокационно: суждения Энгельса *об истории* практически всегда превосходят суждения Маркса. Он обладал лучшими знаниями по европейской истории, он лучше разбирался в ее сменяющих друг друга и ясно выраженных структурах. Во всех трудах Энгельса нет ничего сопоставимого с иллюзиями и предрассудками, которые Маркс иногда привносил в науку, как, например, в фантазмагорической «Тайной дипломатической истории XVIII века» (вряд ли надо при этом заново утверждать превосходство вклада Маркса в *общую теорию* исторического материализма). Именно позиция Энгельса в его исторических трудах делает необходимым привлечь внимание к содержащимся там специфическим ошибкам.

¹⁴ См. Hazeltine H.D. Roman and Canon Law in the Middle Ages //The Cambridge Mediaeval History. Vol. g. Cambridge, 1968. P. 737–741. Именно по этой причине сам ренессансный классицизм был очень критично настроен по отношению к работам комментаторов.

¹⁵ «Теперь, когда это право было перенесено в совершенно другую, неизвестную античности ситуацию, задача „конструирования“ логически безупречной ситуации стала главной. Именно таким образом концепция права, существующая до сих пор и рассматривающая право как логически последовательный комплекс „норм“, требующих „применения“, стала

страняться за пределы Италии начиная с их повторного открытия в XII в. К концу Средних веков ни одна крупная страна Западной Европы не осталась не затронутой этим процессом. Однако решительное «принятие» римского права, его решающий юридический триумф произошел в эпоху Возрождения, одновременно с триумфом абсолютизма. Два типа исторических причин его глубокого влияния отражали противоречивый характер самого римского наследия.

Экономически восстановление и введение классического гражданского права весьма благоприятствовало росту свободного капитала в городе и стране, потому что главной отличительной чертой римского гражданского права была содержащаяся в нем концепция абсолютной и безусловной частной собственности. Классическая концепция законной (*Quiritary*) собственности потерялась еще в темных глубинах раннего феодализма, потому что феодальный способ производства, как мы видели, точно определялся юридическим принципом условной собственности в дополнение к раздробленному суверенитету. Этот статус собственности был хорошо адаптирован к почти полностью натуральной экономике, возникшей в «темные века»; хотя он никогда не был полностью адекватным городскому сектору, развивавшемуся в средневековой экономике. Возрождение римского права в ходе Средневековья вело, таким образом, к юридическим попыткам «уточнить» и ограничить понятие собственности, вдохновленное заново открытыми классическими принципами. Одной из таких попыток было изобретение в конце XII в. различия между *dominium directum* и *dominium utile* для объяснения существования вассальной иерархии и соответственной множественности прав на одну и ту же землю¹⁶. Другой была характеристика средневекового понятия владения собственностью (*seisin*), расположенного между римскими «собственностью» (*property*) и «владением» (*possession*), которая гарантировала защищенную собственность от случайного присвоения или конфликтующих притязаний, сохраняя при этом феодальный принцип множественных прав на один и тот же объект: право *seisin* не было ни исключительным, ни вечным¹⁷. Полное восстановление концепции абсолютной частной собственности на землю было продуктом раннего Нового времени, когда требовалось, чтобы производство и обмен товаров в сельском хозяйстве и в мануфактурном производстве достигли уровня равного или превосходящего античность и чтобы кодифицирующие их юридические концепции смогли вернуть себе изначальное значение. Принцип *superficies solo cedit* — единой и безусловной собственности на землю — снова стал действующим (хотя далеко еще не доминирующим) правилом аграрной собственности, именно благодаря распространению товарных отношений в сельской местности, определявшему долгий переход от феодализма к капитализму на Западе. В самих средневековых городах, конечно же, появилось относительно развитое коммерческое право. Внутри городской экономики обмен товаров достиг относительного динамизма уже в Средневековье, и в некоторых важных отношениях формы его юридического выражения были более развитыми, чем сами римские прецеденты: примером могут служить законодательство о компаниях и морское право. Однако здесь тоже не существовало единой структуры, правовой теории или процедур. Превосходство римского права для торговой практики городов состояло, таким образом, не только в его ясном понятии абсолютной собственности, но и в традициях равенства, рациональных канонах доказательства и опоре на профессиональных юристов — пре-

основной концепцией юридической мысли». Weber M. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press, 1978. Vol. 2. P. 885.

¹⁶ См. Levy J.-P. *Histoire de la Propriete*. Paris, 1972. P. 44–46. Другим ироническим побочным эффектом попыток создать новую юридическую ясность, вдохновленным средневековым исследованием римских кодексов, было, конечно, определение крепостных как *glebae adscripti* («приписанных к земле»).

¹⁷ О значении понятия *seisin* см. Vinogradoff P. *Roman Law in Mediaeval Europe*. London, 1909. P. 74–44, 86, 95–96; Levy J.-P. *Histoire de la Propriete*. P. 50–52.

имущества, которые не мог предоставить традиционный суд¹⁸. Восприятие римского права в ренессансной Европе было, таким образом, знаком распространения капиталистических отношений в городах и в стране: экономически оно отвечало жизненным интересам торговой и мануфактурной буржуазии. В Германии, стране, где воздействие римского права было наиболее драматичным, в конце XV–XVI в. невероятно быстро вытеснившим местные суды с родины тевтонского обычного права, первоначальный импульс к его принятию возник в южных и западных городах и пришел снизу через давление городских истцов, требовавших ясного и профессионального процессуального права¹⁹. Вскоре, однако, оно было взято на вооружение германскими князьями и применено на их территориях в еще больших масштабах и с совершенно иными целями.

Политически возрождение римского права соответствовало конституционной необходимости реорганизованных феодальных государств той эпохи. Несомненно, что в Европе первичная причина принятия римской системы права лежала в стремлении королевских правительств к усилению центральной власти. Римская юридическая система включала две различные – и очевидно противоречивые – части: гражданское право, регулирующее экономические транзакции между гражданами; и публичное право, управляющее политическими отношениями между государством и его подданными. Первое называлось *jus*, второе – *lex*. Юридически безусловный характер частной собственности, освященный первым, находил противоречивого двойника в формально абсолютной природе имперского суверенитета, определяемого вторым, по меньшей мере начиная с эпохи Домината. Именно теоретические принципы этого политического *imperialism* оказали глубокое влияние на новые монархии эпохи Ренессанса и были для них особенно привлекательными. Если возрождение концепции законной собственности способствовало общему росту товарного обмена в переходных экономиках эпохи, то возрождение авторитарных прерогатив Домината выражало и укрепляло концентрацию аристократической классовой власти в централизованном государственном аппарате, которая была реакцией знати на этот процесс. Двойственные общественные процессы, запечатленные в структурах западного абсолютизма, нашли, таким образом, выражение в новом введении римского права. Знаменитая максима Ульпиана – *quod principi placuit legis habet vicem* («воля правителя имеет силу закона») – стала конституционным идеалом ренессансных монархий на всем Западе²⁰. Дополняющая ее идея, что короли и князья сами являлись *legibus solutus*, или освобожденными от предшествующих законных ограничений, предоставила юридическую формулу, позволявшую не принимать во внимание средневековые привилегии, игнорировать традиции и подчинять частные права.

Другими словами, прирост частной собственности снизу дополнялся сверху увеличением публичной власти, олицетворенной в самовластной воле короля. Абсолютистские государства на Западе основывали свои новые стремления на классических прецедентах: римское право было самым могущественным интеллектуальным оружием, доступным для их типичной программы территориальной интеграции и административного централизма.

¹⁸ Отношение первоначального средневекового права в городах к римскому праву нуждаются в дальнейшем исследовании. Сравнительное развитие юридических правил, регулировавших операции по типу *commendata* и морскую торговлю в Средневековье неудивительно: римский мир, как мы видели, не знал антрепренерских компаний и включал единое Средиземноморье. Следовательно, тогда не было причин развивать ни то ни другое. С другой стороны, изучение римского права в итальянских городах показывает, что то, что казалось ко времени Возрождения «средневековой» практикой контрактов, могло быть изначально сформировано юридическими принципами, восходящими к античности. Виноградов не сомневался, что римское контрактное право прямо влияло на деловые кодексы городских бюргеров Средневековья. См.: Vinogradoff P. Roman Law in Mediaeval Europe. Oxford: Clarendon Press, 1929. P. 79–80, 131. Городская недвижимая собственность, с ее «арендой», была всегда, конечно, ближе к римским нормам, чем сельская собственность в Средние века.

¹⁹ См. Kinkell W. The Reception of Roman Law in Germany: An Interpretation; Dahm G. On the Reception of Roman and Italian Law in Germany // Pre-Reformation Germany/G. Strauss (ed.). London, 1972. P. 271, 274–276, 278, 284–292.

²⁰ Одним из идеалов, но далеко не единственным: мы увидим, что сложная практика абсолютизма была всегда очень далека от максимы Ульпиана.

Неслучайно единственной средневековой монархией, которая достигла полной эмансипации от любых представительных или корпоративных ограничений, было папство, первая политическая система феодальной Европы, оптом принявшая римскую юриспруденцию, кодифицировав каноническое право в XII–XIII вв. Претензии Папы на *plenitudo potestatis* в Церкви создали прецедент для последовавших притязаний светских князей, часто прямо направленных против религиозной чрезмерности. Более того, точно так же, как юристы-каноники в папском государстве управляли созданными ими административными рычагами контроля над Церковью, так и полупрофессиональные бюрократы, обученные римскому праву, стали ключевыми исполнительными служащими новых королевских государств. Абсолютные монархии Запада характерным образом опирались на страту умелых законников для заполнения своих административных машин: *letrados* в Испании, *maitres de requetes* во Франции, *doctores* в Германии. Пропитанные римскими доктринами королевской декретной власти и римскими концепциями унитарных правовых норм, эти юристы-бюрократы были рьяными проводниками королевского централизма в первый критический век создания абсолютистского государства. Именно этот международный корпус легистов более, чем любая другая сила, романизировал юридические системы Западной Европы в эпоху Ренессанса. Трансформация закона с неизбежностью отражала распределение власти между классами собственников той эпохи: абсолютизм, как реорганизованный государственный аппарат господства аристократии, был центральным архитектором восприятия римского права в Европе. Даже там, где, как в Германии, движение инициировали автономные города, именно князья возглавляли его и воплотили в жизнь; там же, где, как в Англии, королевская власть не смогла распространить гражданское право, оно не пустило корни и в городской среде²¹. В сверхдетерминированном процессе римского возрождения первенствовало политическое давление династического государства: требования монархической «ясности» доминировали над требованиями коммерческой «определенности»²². Рост формальной рациональности, пусть несовершенной и неполной, в юридической системе Европы раннего Нового времени был в преобладающей степени результатом работы аристократического абсолютизма.

Эффект юридической модернизации состоял, таким образом, в восстановлении правления традиционного феодального класса. Очевидная парадоксальность этого феномена отразилась на всей структуре абсолютных монархий – экзотических гибридных композиций, чья поверхностная «современность» раз за разом выдавала их глубинную архаику. Это ясно видно из обзора институциональных инноваций, которые олицетворяли их появление: армии, бюрократии, налогообложения, торговли, дипломатии. Давайте рассмотрим их кратко и по порядку.

Часто обращалось внимание на то, что абсолютистское государство первым создало профессиональную армию, которая с началом военной реформы конца XVI–XVII в., связанной с именами Мориса Оранжского, Густава-Адольфа и Валленштейна (голландский строй и учения пехоты, шведская система кавалерийского залпа, чешская единая вертикальная

²¹ Римское право так никогда и не натурализовалось в Англии, главным образом в результате ранней централизации англосаксонского государства, чье административное единство сделало английскую монархию безразличной к преимуществам гражданского права во время его средневековой диффузии. См. комментарии *Cantor N. Mediaeval History. London, 1963. P. 345–349* – В раннее Новое время династии Тюдоров и Стюартов ввели новые юридические институты по типу гражданского права (Звездную палату, Адмиралтейство и Суд лорда-канцлера), но в целом оказались неспособными преодолеть обычное право: после острых конфликтов между ними в начале XVII в. Английская революция 1640 г. закрепила победу последнего. Некоторые размышления над этим процессом см.: *Holdsworth W. A History of English Law. Vol. IV. London, 1924. P. 284–285*.

²² Этими двумя терминами Вебер обозначал соответственно интересы двух сил, работавших на романизацию: «пока буржуазия добивалась „определенности“ (*certainty*) в администрации юстиции, бюрократия была заинтересована в «ясности» (*clarity*) и подчинении законам (*orderliness*)». См. его превосходное обсуждение в: *Economy and Society. Vol. II. P. 847–848*.

команда), невероятно выросла в размерах²³. Армия Филиппа II насчитывала около 60 тыс. человек, а столетия спустя Людовик XIV командовал 300 тыс. солдат. Однако и по форме, и по функциям эти войска весьма отличались от тех, что позднее станут характеристикой современного буржуазного государства. Обычно эти солдаты не были призваны в национальную армию, а составляли смешанную массу, в которой иностранные наемники играли постоянную центральную роль. Эти наемники типично рекрутировались в регионах из-за пределов новых централизованных монархий; на поставке солдат особенно специализировались горные регионы: швейцарцы были гуркхами Европы раннего Нового времени. Французская, голландская, испанская, австрийская и английская армии включали швабов, албанцев, швейцарцев, ирландцев, валахов, турков, венгров и итальянцев. Самой очевидной социальной причиной феномена наемничества был, конечно, естественный отказ аристократии массово вооружать собственных крестьян. «Совершенно невозможно обучить всех подданных республики (*commonwealth*) искусству войны и в то же время сохранять их лояльность законам и должностным лицам, – писал Жан Боден, – В этом, вероятно, была главная причина роспуска Франциском I в 1534 г. семи полков по 6 тыс. пехотинцев каждый, которые он сам создал в своем королевстве»²⁴. Напротив, на наемные войска, невежественные даже в языке местного населения, можно было положиться в подавлении народных восстаний. Немецкие ландскнехты справились с крестьянскими волнениями в Восточной Англии в 1549 г., в то время как итальянские аркебузиры ликвидировали сельский мятеж к юго-западу от Лондона; швейцарские гвардейцы помогли усмирить герильи булонцев и камизаров в 1662 и 1702 гг. во Франции. Значение наемников, заметное уже в конце Средних веков от Уэльса до Польши, не сводилось к временному удобству абсолютизма в начале его существования: они сопутствовали ему на Западе до самого конца. В конце XVIII в., даже после введения воинской повинности в основных европейских странах, до двух третей любой «национальной» армии могло состоять из нанятых иностранных солдат²⁵. Пример прусского абсолютизма, нанимавшего и похищавшего людей в армию из-за границы, используя аукционы и мобилизацию, напоминает, что не всегда можно четко разделить одно от другого.

В то же самое время функции этих огромных сборищ солдат также, видимо, отличались от более поздних армий капитализма. До сих пор не существовало марксистской теории различных социальных функций войны при разных способах производства. Здесь не место исследовать этот предмет. Однако можно аргументировать, что война была, вероятно, *самым рациональным и быстрым* способом извлечения избытков, доступных любому правящему классу при феодализме. Сельскохозяйственное производство не было, как мы видели, застойным на протяжении Средневековья, то же самое относится и к объему торговли. Однако и то и другое росло слишком медленно с точки зрения феодалов, в сравнении со скорым и массивным «урожаем», предоставляемым завоеванием территории, в ряду которых норманнское вторжение в Англию или на Сицилию, захват Неаполя Анжуйской династией или завоевание Кастилии Андалусии были только самыми впечатляющими примерами. Поэтому логичным представляется, что с социальной точки зрения феодальный правящий класс был военным. Экономическая рациональность войны в такой общественной формации была весьма специфичной: это максимизация богатства, роль которого не может сравниться с той, что оно играет в сменивших ее более развитых формах производства, где доминирует базовый ритм аккумуляции капитала и «неустанное всеобщее

²³ См. Roberts M. The Military Revolution 1560–1660 // Essays in Swedish History. London, 1967. P. 195–225 – основной текст; Gustavus Adolphus. A History of Sweden 1611–1632. London, 1958. Vol. II. P. 169–189.

²⁴ Bodin J. Les Six Livres de la Republique. Paris, 1578. P. 669.

²⁵ См. Dorn W. Competition for Empire. New York, 1940. P. 83.

перемены» (Маркс) в экономических основаниях общественной формации. Аристократия была землевладельческим классом, родом занятий которого была война: внешние приобретения были не ее общественной целью, а внутренней функцией ее экономического положения. Нормальная среда конкуренции между капиталистами – экономика, и ей соответствует типично приобретательская структура: обе конкурирующие стороны могут расширяться и процветать, хотя и не в равной степени, в условиях конфронтации, потому что производство товаров внутренне неограниченно. Типичной средой соперничества между феодалами была, по контрасту, война, и ее структура всегда была в потенции конфликтом с нулевой суммой, разыгрывавшимся на поле битвы, в результате которой ограниченное количество земли бывало завоевано или потеряно. Дело в том, что земля представляет собой естественную монополию: ее нельзя увеличить, но только переделить. Категориальной целью аристократического правления была территория, независимо от того, какое сообщество на ней проживало. Земля как таковая, не язык, определяла естественные периметры могущества. Правящий класс феодалов был поэтому весьма подвижным – таким, каким позже не мог быть правящий класс капиталистов. Так как капитал сам по себе характерно мобилен, он позволяет своим держателям быть национально закрепленными: земля национально немобильна, и феодалы должны были путешествовать, чтобы овладеть ею. Поэтому любая вотчина или династия могла переносить свою резиденцию с одного конца континента на другой без дезорганизации. Члены Анжуйской династии могли править Венгрией, Англией или Неаполем; норманны – Антиохией, Сицилией или Англией; Бургундская династия – Португалией или Зеландией; Люксембургская – Рейнской областью или Богемией; Фламандская – Артуа или Византией; Габсбурги – Австрией, Нидерландами или Испанией. В этих различных землях феодалам и крестьянам не нужен был общий язык. Общественные территории формировали единое целое с частными владениями, и классическим средством их приобретения была сила, неизменно приукрашенная претензиями на религиозную или генеалогическую легитимность. Война не являлась «спортом» принцев, она была их судьбой; за пределами ограниченного разнообразия индивидуальных наклонностей и характеров она влекла их неумолимо, как социальное требование их статуса. Для Макиавелли, обозревавшего Европу начала XVI в., главным законом существования была истина, безукоризненная, как небо над ним: «Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого»²⁶.

Абсолютистские государства отражают эту архаичную рациональность в своей глубинной структуре. Они были машинами, построенными главным образом для битвы. Важно отметить, что первый регулярный национальный налог, введенный во Франции, *taille royale*, был создан для того, чтобы финансировать первые регулярные военные подразделения в Европе – *compagnies d'ordonnance* середины XV в., первое из которых состояло из шотландских «солдат удачи». К середине XVI в. 80 % доходов испанского государства шло на военные траты: Виценс Вивес (Vives) мог написать, что «импульс по направлению к современному типу административной монархии был задан в Западной Европе великими морскими операциями Карла V против турок в Западном Средиземноморье начиная с 1535 года»²⁷. К середине XVII в. ежегодные расходы континентальных княжеств от Швеции до Пьемонта были везде преимущественно и монотонно посвящены подготовке или ведению войны, теперь чрезвычайно более дорогой, чем в эпоху Возрождения. Еще век спустя, в мирный канун 1789 г., по данным Неккер, две трети французских государственных расходов были

²⁶ Machiavelli N. Il Principe e Discorsi. Milan, 1960. P. 62.

²⁷ Vives V. J. Estructura Administrativa Estatal en los Siglos XVI y XVII // XI^o Congreso Internacional des Sciences Historiques, Rapports IV, Goteborg 1960; переиздано в: Vives V. Cojuntura Economica y Reformismo Burgues. Barcelona, 1968. P. 116.

по-прежнему ассигнованы на военные нужды. Очевидно, что такая морфология государства не соответствует капиталистической рациональности: она представляет разбухшую память о средневековых функциях войны. Грандиозный военный аппарат позднефеодального государства не оставался в бездеятельности. Практически постоянное состояние международного вооруженного конфликта было одной из отличительных черт всего климата абсолютизма. Состояние мира был метеорологическим исключением в те века, когда абсолютизм доминировал на Западе. Подсчитано, что за весь XVI в. было только 25 лет без крупномасштабных военных операций в Европе²⁸, тогда как в XVII в. только 7 лет прошло без крупных войн между государствами²⁹. Такие календари чужды капиталу, хотя, как мы увидим, он внес в них и свой вклад.

Характеристика гражданской бюрократии и налоговой системы абсолютистского государства была не менее парадоксальной. Она появилась как будто для того, чтобы проиллюстрировать переход к веберовской рациональной юридической администрации, по контрасту с джунглями частных зависимостей Высокого Средневековья. В то же самое время ренессансная бюрократия рассматривалась как собственность, которую можно продавать частным лицам: это было смешение двух порядков, различие между которыми всегда будет поддерживать буржуазное государство. Следовательно, доминирующей формой интеграции феодальной аристократии в абсолютистское государство на Западе стало приобретение «должностей»³⁰. Тот, кто частным образом покупал пост в государственном аппарате, мог затем компенсировать свои затраты с помощью лицензированных привилегий и коррупции (системы вознаграждений), что напоминает монетизированную карикатуру на пожалование поместья. В самом деле, маркиз дель Васто, испанский губернатор Милана в 1544 г., мог потребовать от итальянских чиновников этого города заложить свое имущество Карлу V в тяжелый для него час после поражения при Цересоле, в точности следуя модели феодальных взаимоотношений³¹. Такие «держатели должностей», распространившиеся во Франции, Италии, Испании, Британии или Голландии, могли надеяться получить со своей покупки до 300–400 % прибыли, а возможно, и много больше. Система родилась в XVI в. и превратилась в главный источник финансов абсолютистских государств на протяжении XVII в.

Ее избыточно паразитический характер очевиден: в крайних ситуациях (например, во Франции в 1630-е гг.), она могла стоить государственному бюджету примерно столько же в издержках (через налоговые откупа и иммунитеты), сколько поставляла в ответ. Рост продаж должностей был, конечно, одним из самых ярких побочных продуктов возматериализации экономики раннего Нового времени и относительного роста влияния торговой и мануфактурной буржуазии. Однако справедливо и то, что сама интеграция последних в государственный аппарат путем частной покупки и наследования общественных должностей и почестей означала подчиненный характер их ассимиляции в феодальную политическую систему, в которой аристократия всегда с неизбежностью составляла верхушку социальной иерархии. Чиновники (*officiers*) французского парламента, которые заигрывали с муниципальным республиканизмом и спонсировали «мазаринады» (движение против Мазарини) в 1650-е гг., стали самыми твердолобыми защитниками аристократической реакции в 1780-е.

²⁸ См. Ehrenberg R. Das Zeitalter der Fugger. Bd. I. Jena, 1922. P. 13.

²⁹ См. Clark G. N. The Seventeenth Century. London, 1947. P. 98. Эренберг, использующий немного другое определение, дает несколько меньшее число, 21 год.

³⁰ Лучшим исследованием этого международного феномена является: Swart K. W. Sale of Offices in the Seventeenth Century. The Hague, 1949. Самое всестороннее исследование на национальном уровне: Mosnier R. La Venalite des Offices sous Henri IV et Louis XIII. Rouen (n. d.).

³¹ См. Chabod F. Scritti sul Rinascimento. Turin, 1967. P. 617. Миланские функционеры отказались выполнить требование своего губернатора, однако их коллеги в других местах могли не проявить такой решительности.

Абсолютистская бюрократия не только замечала рост торгового капитала, но и тормозила его.

Если продажа должностей была косвенным способом поднять доход от аристократии и торговой буржуазии на выгодных для них условиях, абсолютистское государство также, и прежде всего, облагало налогом бедных. Экономический переход от трудовой повинности к денежной ренте на Западе сопровождался появлением королевских налогов, собиравшихся на войну, что в условиях долгого феодального кризиса в конце Средневековья было уже одной из главных причин отчаянных крестьянских восстаний. «Цепь крестьянских восстаний, прямо направленных против налогообложения, взорвалась по всей Европе. <...> Выбор между фуражирами дружественной или вражеской армий был невелик – те и другие брали одинаково. Затем появлялись сборщики налогов и выметали все, что могли найти. Наконец, феодалы выбивали из своих людей „помощь“, которую они должны были заплатить своему суверену. Нет сомнений, что изо всех бед, с которыми они сталкивались, крестьяне страдали наиболее болезненно и наименее терпеливо от бремени войны и налогообложения»³². Практически везде преобладающий вес налогов – *тали* и *габели* во Франции, *сервисио* в Испании – падал на бедняков. Не существовало юридической концепции «гражданина», обязанного платить налоги по самому факту своей принадлежности к нации. Класс сеньоров был на практике везде освобожден от налогообложения. Поршневу наглядно показал, что новые налоги, установленные абсолютистскими государствами для «централизации феодальной ренты», были противоположностью сеньориальным сборам, которые формировали «местную феодальную ренту»³³: эта двойная система поборов приводила к мучительным эпидемиям восстаний бедноты во Франции XVII в., где провинциальная аристократия часто вела своих собственных крестьян против сборщиков налогов, чтобы с большей вероятностью собрать с них местные подати. Фискальных чиновников должны были охранять отрядами фузилеров, чтобы они могли исполнять свои функции в сельской местности: вместе они представляли модернизированное олицетворение единства политико-правового принуждения с экономической эксплуатацией, определяющего феодальный способ производства как таковой.

Экономические функции абсолютизма не исчерпывались, однако, его налоговой и должностной системами. Меркантилизм был правящей доктриной эпохи, и он представляет ту же самую неопределенность, как и бюрократия, которая должна была воплощать его в жизнь, и с тем же самым скрытым возвратом к более раннему прототипу. Меркантилизм несомненно требовал подавления партикуляристских барьеров торговли внутри национальных границ и боролся за создание унифицированного внутреннего рынка для производства товаров. Нацеленный на увеличение мощи государства по отношению ко всем другим государствам, он поощрял экспорт товаров, запрещая в то же время экспорт золота или монет, веруя в то, что в мире существует конечное количество торговли и богатства. В соответствии со знаменитой фразой Хекшера (Hecksher) «государство было одновременно и субъектом, и объектом меркантилистской экономической политики»³⁴. Его характерными творе-

³² Duby G. Rural Economy and Country Life in the Mediaeval West. P. 333.

³³ Porshnev B. F. Les Soulevements Populaires en France de 1623 a 1648. Paris, 1865. p. 395–396.

³⁴ Хекшер доказывал, что целью меркантилизма было «увеличение мощи государства», а не «богатство наций», и это означало подчинение, словами Бэкона, «соображений изобилия» «соображениям мощи» (Бэкон на этом основании хвалил Генриха VII за ограничение импорта вин только на английских судах). Винер (Viner), в эффективном ответе не затруднился показать, что большинство писателей-меркантилистов, наоборот, придавали равное значение и тому, и другому, и верили, что они совместимы. Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the 17th and 18th Centuries EWorld Politics. I. N 1. 1948. Переиздано в: Revisions in Mercantilism/D. C. Coleman (ed.). London, 1969. P. 61–91. В то же время Винер очевидно недооценивал разницу между меркантилистской теорией и практикой, и сменившей ее *laissez-faire*. Фактически и Хекшер, и Винер разными способами упустили существенный факт, а именно *неразличение* экономики и политики в переходную эпоху, которая производила меркантилистские теории. Спорить о том, что из них имело «первенство» над другим, – ана-

ниями были королевские мануфактуры и регулируемые государством гильдии во Франции, а также привилегированные компании в Англии. Средневековое и корпоратистское происхождение первого вряд ли нуждается в комментарии; слияние экономического и политического порядков в последних возмущало Адама Смита. Дело в том, что меркантилизм представлял собой концепцию феодального правящего класса, который адаптировался к общему рынку, но сохранил суть своего мировоззрения в единстве того, что Френсис Бэкон назвал «соображениями изобилия» и «соображениями мощи». Классические буржуазные доктрины *laissez-faire*, с их жестким формальным разделением политической и экономической систем, служили ему антиподом. Меркантилизм был теорией последовательного вмешательства политического государства в работу экономики, в общих интересах процветания одного и мощи другого. Логично, что там, где *laissez-faire* был сущностно «пацифистским», благословляя блага мира между народами для увеличения взаимовыгодной международной торговли, меркантилистская теория [Монкретьен (Mochretien), Бодэн (Bodin)] была очень воинственной, подчеркивая необходимость и выгодность войны³⁵. И наоборот, целью сильной экономики было успешное осуществление завоевательной внешней политики. Кольбер говорил Людовiku XIV, что королевские мануфактуры были экономическими полками, а корпорации его резервами. Этот величайший практик меркантилизма, который восстановил финансы французского государства за десять волшебных лет интендантства, затем подтолкнул своего суверена к роковому вторжению в Голландию в 1672 г., таким выразительным советом: «Если король подчинит все Объединенные провинции своей власти, их торговля станет торговлей подданных его величества, и ничего больше не надо будет просить»³⁶. Сорок лет европейского конфликта последовали за этим экономическим умозаключением, которое совершенным образом фиксирует социальную логику абсолютистской агрессии и хищнического меркантилизма: торговля голландцев рассматривалась как земля англосаксов или владения мавров, – физический объект, который можно захватить военной силой и которым можно потом владеть постоянно. Оптическая иллюзия этого частного суждения не делает его нерепрезентативным: именно такими глазами абсолютистские государства смотрели друг на друга. Меркантилистские теории богатства и войны были, в самом деле, концептуально соединены: модель мировой торговли как игры с нулевой суммой, которая вдохновляла экономический протекционизм, проистекала из модели международной политики как игры с нулевой суммой, которая была неотъемлемой частью ее воинственности.

Торговля и война, конечно, не исчерпывали внешнюю активность абсолютистских государств Запада. Большие усилия прилагались и к *дипломатии*. Она стала одним из великих институциональных изобретений эпохи – возникшая в миниатюрном регионе Италии в XV в., институционализированная там миром в Лоди, и принятая Испанией, Францией, Англией, Германией и всей Европой в XVI в. Дипломатия была, фактически, нестираемым родимым пятном ренессансного государства: с ее появлением в Европе родилась международная государственная система, в которой существовало «постоянное зондирование слабых мест в окружении государства и опасностей, ему угрожающих, исходящих от других государств»³⁷. Средневековая Европа никогда не состояла из четко разграниченных гомо-

хронизм, потому что на практике между ними не было такого жесткого деления до самого появления *laissez-faire*.

³⁵ См. Silberman E. La Guerre dans La Pensee Economique du XVIe au XVIIIe Siecle. Paris, 1939. P. 7–122.

³⁶ Goubert P. Louis XIV et Vingt Millions de Francais. Paris, 1966. P. 95.

³⁷ Porshnev B.F. Les Rappports Politiques de l'Europe Occidentale et l'Europe Orientale a l'Epoque de la Guerre de Trente Ans // XIe Congres International des Sciences Historiques. Uppsala, 1960. P. 161. Чрезвычайно умозрительный набег в Тридцатилетнюю войну, хороший пример сильных и слабых сторон Поршнева. Вопреки намекам его западных коллег, его главным недостатком является не жесткий «догматизм», а чрезмерно плодотворная изобретательность, не всегда адекватно ограниченная дисциплиной доказательств; в то же время эта самая черта в другом отношении делает его оригинальным и творческим историком. Краткие предложения в конце его эссе по поводу концепции «международной системы государств» очень хороши.

генных политических единиц – международной системы государств. Ее политическая карта была запутанной, наложенной и замысловатой, в которой разные политические ступени были географически переплетены и стратифицированы, изобиловали множественными вассальными зависимостями, асимметричными сюзеренитетами и аномальными анклавами³⁸. И в этом сложном лабиринте не могла возникнуть формальная дипломатическая система, потому что не существовало единообразия или равенства партнеров. Концепция латинского христианства, членами которого были все люди, предлагала универсалистскую идеологическую матрицу для конфликтов и решений, которая была необходимой обратной стороной чрезвычайно партикуляристской гетерогенности самих политических единиц. Поэтому «посольства» были спорадическими и неоплачиваемыми путешествиями с обращениями, которые с равным основанием могли быть направлены вассалом к собственному вассалу на данной территории, или от князя к князю двух разных территорий, или от принца к его сюзерену. Сокращение феодальной пирамиды до новых централизованных монархий ренессансной Европы впервые создало формализованную систему новых институтов взаимных постоянных посольств за границей, постоянные канцелярии для иностранных дел и секретные дипломатические коммуникации и доклады, защищенные новой концепцией «экстерриториальности»³⁹. Светский дух политического эгоизма, вдохновлявший с этого времени дипломатическую практику, был прозрачно выражен Эрмолао Барбаро, венецианским послом, который был его первым теоретиком: «Первая обязанность посла – та же самая, что и у других государственных служащих, то есть думать и советовать такие вещи, которые лучше всего послужат сохранению и расширению его собственного государства».

И все же эти инструменты дипломатии, послы и государственные секретари, не были орудием современного национального государства. Идеологическая концепция «национализма» была чужда внутренней природе абсолютизма. Королевские государства новой эпохи не пренебрегали мобилизацией патриотических чувств своих подданных в ходе политических и военных конфликтов, постоянно противопоставлявших различные монархии Западной Европы. Однако рассеянный народный протонационализм Англии Тюдоров, Франции Бурбонов или Испании Габсбургов был в основном знаком присутствия буржуазии в политической жизни⁴⁰; сановники или суверены манипулировали им в большей степени, чем он управлял их действиями. Национальный ореол абсолютизма на Западе, очень часто декларируемый (Елизавета I, Людовик XIV), на деле зависел от многих обстоятельств. Руководящие нормы эпохи надо было искать в другом месте. Высшим знаком легитимности была *династия*, а не территория. Государство задумывалось как вотчина монарха, и, соответственно, право на него могло быть получено путем союза личностей: *felix Austria*. Высшим изобретением дипломатии был, следовательно, брак – мирное зеркало войны, которое очень часто ее провоцировало. Менее дорогостоящее в качестве способа территориальной экспансии, чем военная агрессия, матримониальное маневрирование давало и менее гарантированный результат (часто всего лишь на одно поколение) и было потому предметом непредсказуемого риска смертности в интервале между свадебным обрядом и созревaniem

³⁸ Энгельс любил приводить пример Бургундии: «Карл Лысый, например, был ленником Императора по части своих земель и ленником французского короля по другой их части; с другой стороны, король Франции, его сюзерен, был в то же время ленником Карла Лысого, своего собственного вассала, по некоторым регионам». См. его важную рукопись, посмертно озаглавленную *Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie* // *Werke*. Bd. 21. S. 396.

³⁹ Полное развитие новой дипломатии в Европе раннего Нового времени можно найти в замечательной работе *Mattingly G. Renaissance Diplomacy*. London, 1955. *passim*.

⁴⁰ Сельские и городские массы сами, конечно, порождали спонтанные формы ксенофобии; однако эта традиционная негативная реакция на чужие сообщества сильно отличалась от позитивной национальной идентификации, которая стала возникать среди грамотных буржуа в раннее новое время. Смешение этих двух процессов могло в кризисной ситуации породить патриотический порыв снизу, неконтролируемого и мятежного типа: восстания Комунерос в Испании или Лиги во Франции.

его политических плодов. Отсюда длинный окольный путь брака так часто вел назад прямо к короткой дороге войны. История абсолютизма замусорена такими конфликтами, названия которых свидетельствуют сами за себя: войны за испанское, австрийское, баварское наследство. Их результат мог, в самом деле, способствовать упрочению власти династии над территорией, развязавшей войну. Париж мог потерпеть поражение в разрушительной военной борьбе за испанское наследство, и дом Бурбонов унаследовал Мадрид. В дипломатии абсолютистского государства, таким образом, также очевидно доминирование феодалов.

Чрезвычайно выросшее и реорганизованное феодальное государство эпохи абсолютизма, тем не менее, постоянно и глубоко переопределялось ростом капитализма внутри составных общественных формаций периода раннего Нового времени. Эти формации были, конечно же, комбинацией различных способов производства при постепенно затухающем доминировании одного из них – феодализма. Все структуры абсолютистского государства раскрывают, таким образом, влияние работы новой экономики в рамках старой системы: изобиловала гибридная «капитализация» феодальных форм, само извращение которыми институтов будущего (армии, бюрократии, дипломатии, торговли) было превращением старых социальных целей в их повторение.

И все же предчувствие нового политического порядка, содержащееся в них, не было ложным обещанием. Буржуазия на Западе была уже достаточно сильной, чтобы в условиях абсолютизма оставить на государстве свой смазанный отпечаток. Видимым парадоксом абсолютизма в Западной Европе было то, что он по сути своей представлял аппарат для защиты собственности и привилегий аристократов, в то же самое время средства, которыми обеспечивалась эта защита, могли *одновременно* обеспечить и базовые интересы новорожденных торгового и мануфактурного классов. Абсолютистское государство во все возрастающей степени централизовало политическую власть и работало в направлении создания единой правовой системы: кампании Ришелье против гугенотских редутов во Франции были типичным случаем. Оно покончило с большим количеством внутренних барьеров в торговле и поддерживало ввозные пошлины против иностранных конкурентов: меры Помбаля (Pombal) в Португалии времен Просвещения были ярким примером. Оно предоставляло доходные, хотя и рискованные инвестиции для ростовщического капитала: Аугсбургские банкиры XVI в. и генуэзские олигархи XVII в. могли наживать состояния на своих займах испанскому государству. Оно мобилизовало сельскую собственность путем захвата церковных земель: роспуск монастырей в Англии. Оно предложило бюрократии *синекуры* рантье: Полетт (Paulette) во Франции создавал им стабильные должности. Оно спонсировало колониальные предприятия и торговые компании: Белого моря, Антильских островов, Гудзонова залива, Луизианы. Другими словами, оно выполняло некоторые частичные функции *первоначального накопления*, необходимые для окончательного триумфа самого капиталистического способа производства. Причины того, почему оно смогло выполнять такую «двойную» роль, лежат в специфическом характере торгового или мануфактурного капитала: поскольку ни тот ни другой не основывался на массовом производстве, характерном для машинной индустрии, ни один сам по себе не требовал радикального разрыва с феодальным аграрным порядком, который все еще включал подавляющее большинство населения (будущие наемные работники и будущий рынок потребления промышленного капитализма). Другими словами, они могли развиваться в пределах, установленных реорганизованными феодальными рамками. Не хочу сказать, что так было везде: политические, религиозные или экономические конфликты могли после периода созревания при определенных условиях легко вылиться в революционные взрывы, направленные против абсолютизма. Всегда в рамках этой стадии, однако, существовало потенциальное *поле совместимости* между природой и программой абсолютистского государства и действиями торгового и мануфактурного капитала. В условиях международной конкуренции между благородными классами, кото-

рая порождала специфические войны той эпохи, размеры товарного сектора внутри каждой «национальной» вотчины всегда имели критическое значение для ее относительной военной и политической силы. Каждая монархия поэтому была заинтересована и в пополнении казны и поощрении торговли под ее собственными флагами, и в борьбе со своими соперниками. Отсюда – «прогрессивный» характер, который последующие историки так часто приписывали официальной политике абсолютизма. Экономическая централизация, протекционизм и заморская экспансия усиливали позднефеодальное государство и создавали прибыль ранней буржуазии. Они увеличивали налогооблагаемые доходы одного, создавая возможности для бизнеса другого. Рекламные максимы меркантилизма, провозглашавшиеся абсолютистским государством, давали убедительное выражение этому временному совпадению интересов. В соответствии с этим герцог Шуазель (Duc de Choiseul) в последние десятилетия аристократического старого режима на Западе декларировал: «От флота зависят колонии, от колоний – торговля, от торговли – возможности государства содержать многочисленные армии, увеличивать население и делать осуществимыми самые славные и полезные начинания»⁴¹.

Однако, как подразумевает финальный пассаж о «славных и полезных начинаниях», абсолютизм сохранял свой неотъемлемо феодальный характер. Это было государство, основанное на социальном превосходстве аристократии и ограниченное императивами земельной собственности. Аристократия могла передать власть монарху и разрешить обогащение буржуазии: массы оставались в ее власти. Никакого умаления благородного класса в абсолютистском государстве никогда не случалось. Его феодальный характер проявлялся в отказе от выполнения или искажении обещаний, которые оно делало капиталу. Фуггеры были в конце концов разрушены банкротствами Габсбургов; английская аристократия захватила большую часть монастырских земель; Людовик XIV разрушил блага работы Ришелье, отозвав Нантский эдикт; лондонские купцы были ограблены проектом Кокейна (Cockayne); Португалия после смерти Помбала вернулась к системе Метуэна, парижские спекулянты были обмануты законом. Армия, бюрократия, дипломатия и династия оставались затвердевшими феодальными комплексами, которые правили всей машиной государства и управляли его судьбами. Правление абсолютистского государства было правлением феодальной аристократии в эпоху перехода к капитализму. Его конец означал кризис власти этого класса: начало буржуазных революций и возникновение капиталистического государства.

⁴¹ Цит. по: *Graham G. The Politics of Naval Supremacy. Cambridge, 1965. P. 17.*

2. Класс и государство: проблемы периодизации

Мы описали типичную институциональную структуру абсолютистского государства на Западе. Нам остается сделать только набросок исторической траектории этой формы, которая пережила важные изменения за более чем три столетия своего существования. В то же время необходимо описать отношения между аристократией и абсолютизмом, поскольку ничто не может быть более далеким от истины, чем предположение, будто они отличались естественной гармонией с самого начала. Напротив, реальная *периодизация* абсолютизма на Западе может быть основана именно на смене типа отношений между аристократией и монархией, а также многочисленных сопутствовавших этой смене политических сдвигах. Ниже предлагается предварительная периодизация эволюции государства и отношения к нему доминирующего класса.

Средневековый монарх, как мы убедились, представлял собой сочетание феодального сюзерена и помазанного короля. Чрезвычайные королевские права второй функции были, конечно, необходимым противовесом структурной слабости и ограничениям первой: противоречие между этими двумя альтернативными основами королевской власти было центральной проблемой феодального государства в Средние века. Феодальный сюзерен на вершине иерархии вассалов играл роль доминирующего элемента этой модели монархии, как показывает ретроспективный взгляд на нее в сравнении со структурами абсолютизма. Эта роль предопределяла очень узкие пределы экономической базы монархии в раннесредневековый период. Феодальный правитель той эпохи вынужден был поднимать свои доходы главным образом за счет своих собственных владений, в качестве одного из землевладельцев. Доход от его поместий сначала поступал в натуральном виде, а позднее во всевозрастающей степени в денежной форме⁴². В дополнение к этому доходу, он обычно имел определенные финансовые привилегии, происходившие от его положения территориального властителя: прежде всего, феодальные сборы (*incidences*) и особую «помощь» от своих вассалов, связанную со вступлением во владение в их феодах, плюс налоги сеньора, взимаемые с рынков или торговых маршрутов, плюс чрезвычайные сборы от Церкви, плюс доходы от королевской юстиции в форме штрафов и конфискаций. Естественно, эти фрагментированные и ограниченные доходы вскоре стали недостаточными даже для небольших правительственных обязанностей, характерных для средневековой политической системы. Конечно, можно было обратиться за кредитом к купцам и банкирам в городах, контролировавшим сравнительно большие резервы ликвидного капитала: это было первым и самым распространенным средством, к которому прибегали феодальные монархи, сталкивавшиеся с дефицитом доходов для осуществления государственных обязанностей. Однако заимствование лишь откладывало проблему, поскольку банкиры обычно требовали залога будущих королевских доходов для обеспечения своих кредитов.

Настоятельная и постоянная нужда получать значительные суммы сверх традиционных доходов приводила, таким образом, всех европейских монархов к необходимости к созыву, время от времени, «сословий» своего королевства для того, чтобы собрать налоги. Эти сословные собрания – «Штаты» – становились все более частыми и влиятельными, начиная с XIII в. в Западной Европе, когда задачи феодальных правительств все более усложнялись, и масштаб требуемых финансов соответственно увеличивался⁴³. Они так никогда

⁴² Шведская монархия продолжала получать большую часть своих доходов, как пошлины, так и налоги в натуральной форме еще долго на протяжении раннего Нового времени.

⁴³ Полномасштабного исследования средневековых «Штатов» в Европе до сих пор не сделано. В настоящее время единственной работой с некоторыми международными параллелями является книга Антонио Маронгиу (Antonio Marongiu) *Il Parlamento in Italia, nel Medio Evo e nell'Età Moderna: Contributo alla Storia delle Istituzioni Parlamentari dell'Europa*

и не получили законодательной базы для регулярного созыва, независимого от воли правителя, и потому их периодичность в разных странах весьма различалась. Однако эти учреждения нельзя рассматривать как случайный или посторонний нарост на средневековом политическом теле. Напротив, они представляли собой механизм, который был неизбежным следствием структуры раннефеодального государства как такового. Именно потому, что политический и экономический порядок был *вплавлен* в цепь *личных* обязательств и долгов, никогда не существовал никакой легальной основы для *общего* налогообложения со стороны монарха помимо иерархии суверенов-посредников. В самом деле, удивительно, что сама идея всеобщего налогообложения – центральная для всего здания Римской империи – полностью отсутствовала во времена «темных веков»⁴⁴. Таким образом, ни один феодальный король не мог по своему желанию назначить новый налог. Каждый правитель должен был получить «согласие» специально собиравшихся органов сословного представительства на налогообложение, в соответствии с юридическим принципом *quod omnes tangit*⁴⁵. Важно, что большинство прямых общих налогов, которые постепенно вводились в Западной Европе с согласия средневековых парламентов, были впервые введены в Италии, где феодальный синтез в большой степени опирался на римское и городское наследие. Не только Церковь налагала общие налоги на верующих для осуществления крестовых походов; муниципальные правительства – компактные советы патрициев без инвеституры или стратификации рангов – не испытывали больших трудностей в установлении налогов на население своих городов, хотя и в меньшей степени на подчиненные *contado*. Коммуна Пизы имела даже налог на собственность. На Апеннинском полуострове также взималось множество не прямых налогов: монополия на соль или *габель* происходит с Сицилии. Вскоре пестрое фискальное полотно было соткано и в основных странах Западной Европы. Английские принцы в силу своего островного положения опирались в большей степени на таможенные пошлины, французы на акцизы и *талью*, а немцы на интенсификацию сборов. Эти налоги, однако, не были установлены постоянно. Они обычно оставались сборами по случаю вплоть до конца Средних веков, на всем протяжении которых лишь немногие сословные представительства уступили королям право устанавливать постоянное или всеобщее налогообложение без согласия своих подданных.

Социальное деление «подданных» было очевидным. «Сословия королевства» обычно состояли из дворянства, духовенства и городской буржуазии, и были либо так и организованы в трехкуриальную систему, либо в несколько отличавшуюся двухкуриальную (магнаты/немагнаты)⁴⁶. Такие собрания были практически всеобщими в Западной Европе, за исключением Северной Италии, где плотность городского населения и отсутствие феодального сюзеренитета замедлило их появление: парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, ландтаги в Германии, кортесы в Кастилии или Португалии, риксдаг в Швеции и т. д. Помимо их существенной роли налоговых вентилей средневекового государства, эти органы сословного представительства выполняли другую критически важную функцию

Occidentale. Milan, 1962, недавно и несколько неверно переведенная на английский как «Средневековые парламенты: Сравнительное исследование» (Лондон, 1968). На самом деле, книга Маронгиу – как показывает оригинальное название – особенно посвящена Италии, единственному региону в Европе, где Штаты отсутствовали или были сравнительно неважными. Небольшие разделы книги, посвященные другим странам (Франции, Англии или Испании), вряд ли составляют удовлетворительное введение в проблему, и она полностью игнорирует Северную и Восточную Европу. Более того, книга представляет собой юридический обзор, чуждый социологического подхода.

⁴⁴ См. *Stephenson C. Mediaeval Institutions*. Ithaca 1954. P. 99–100.

⁴⁵ Что касается всех, должно быть всеми одобрено (*лат.*).

⁴⁶ Эти альтернативы анализируются Хинтце (Hintze) в *Typologie der Ständischen Verfassungen des Abendlandes // Gesammelte Abhandlungen*. Vol. 1. P. 110–129; эта его работа и в настоящее время остается лучшей из всех, посвященных феномену феодальных сословий в Европе, хотя любопытным образом неубедительной в сравнении с большинством других текстов Хинтце, как будто все значение его находок еще должно быть им истолковано.

в феодальной политической системе. Они являлись коллективными институтами одного из глубочайших принципов феодальной иерархии, – обязанности вассала предоставлять не только *auxilium*, но и *consilium* своему лорду; другими словами, право подавать свой совет по серьезным делам, касающимся обеих сторон. Такие консультации вовсе не обязательно ослабляли средневекового правителя: в случае международного или внутривнутриполитического кризиса они могли усилить его, предоставив важную поддержку. Вне частного ядра отношений индивидуального вассалитета, общественное приложение этой концепции было первоначально ограничено небольшим количеством магнатов-баронов, которые являлись главными держателями земель монарха, формировали его окружение и должны были консультировать его по важным государственным делам. С ростом влияния сословий в XIII в. в связи увеличением фискальных запросов, прерогативы баронов на консультации в *ardua negotia regni* (период тяжелых королевских забот) были постепенно расширены на эти новые ассамблеи и стали важной частью политических традиций благородного класса, который, конечно, всюду доминировал в сословно-представительных органах. «Ответвление» феодальной политики в позднее Средневековье в виде институтов сословного представительства, таким образом, не меняло отношений между монархией и дворянством в каком-то одном направлении. Эти институты были главным образом вызваны к жизни для расширения фискальной базы монархии, однако в процессе выполнения этой функции они также увеличили потенциальный коллективный контроль дворянства над последней. Они, следовательно, не могут рассматриваться ни как простая система сдержек, ни как инструменты королевской власти: скорее, они точно повторяли баланс между феодальным сюзереном и его вассалами в рамках более сложной и эффективной системы.

На практике созыв представителей сословий оставался спорадическим, а налоги, налагаемые монархией, относительно скромными. Важной причиной такого положения дел было то, что экстенсивно оплачиваемая бюрократия еще не поставила себя между монархией и дворянством. Королевское правительство на протяжении Средневековья опиралось на услуги очень большой церковной бюрократии, высший персонал которой мог посвятить себя на постоянной основе делам гражданской администрации без того, чтобы выставлять финансовый счет государству, так как он уже получал большое жалованье от независимого церковного аппарата. Высшее духовенство, которое век за веком поставляло высших администраторов феодальной политики – от Англии до Франции и Испании, – было, конечно, главным образом рекрутировано из благородного сословия, для которого доступ к постам епископов и аббатов составлял важную социальную и экономическую привилегию. Ступенчатая феодальная иерархия личной присяги и верности, корпоративные сословные ассамблеи, осуществляющие свое право голосования за налоги, и рассуждения о делах королевства, неформальный характер администрации, частично определяемый Церковью, верхний эшелон которой часто составляли магнаты, – все это формировало понятную и доступную политическую систему, привязывавшую аристократию к государству, с которым, несмотря на постоянные конфликты с отдельными монархами, она составляла единое целое.

Контраст между этой моделью отношений средневековых сословий с монархией и той, что появилась в начальный период абсолютизма Нового времени, вполне очевиден для сегодняшнего историка. Он был, естественно, не менее, а гораздо более очевиден для аристократии, которая жила в то время. Дело в том, что великая молчаливая сила, ставшая причиной структурной реорганизации власти феодального класса, была скрыта от них. Тип исторической причинности, который разрушал изначальное единство внеэкономической эксплуатации, лежавшей в основе всей социальной системы, расширяя производство товаров и обмен и вновь централизуя их на вершине, был не виден в их категориальной вселенной. Для многих представителей аристократии перемены означали новые возможности для удачи и славы, за которые они с жадностью ухватились; для многих других – бесчестье и крах, против кото-

рого они бунтовали; для большинства – продолжительный и трудный процесс адаптации и обращения, на протяжении жизни нескольких поколений, прежде чем гармония между их классом и государством была кое-как восстановлена. В ходе этого процесса позднефеодальная аристократия была вынуждена отказаться от старых традиций и приобрести многие новые умения⁴⁷. Она должна была избавиться от частного вооруженного насилия, социальных моделей вассальной лояльности, экономических привычек наследственного безразличия, политических прав автономного представительства, и культурных атрибутов неграмотного невежества. Она должна была освоить новые занятия дисциплинированного офицера, грамотного чиновника, изысканного придворного и более-менее предусмотрительного владельца поместья. История западного абсолютизма в большой степени представляет собой историю медленного превращения землевладельческого правящего класса в необходимую форму своей собственной политической власти, несмотря на (и вопреки) большую часть его предыдущего опыта и инстинктов.

Ренессанс, таким образом, стал эпохой первой фазы консолидации абсолютизма, когда он был все еще сравнительно близок к предшествовавшей монархической модели. Сословия продолжали существовать во Франции, Кастилии или Нидерландах до середины века и процветали в Англии. Армии были сравнительно малы, в основном представляя собой наемные силы так называемого сезонного типа. Ими руководили лично аристократы, относившиеся к высшим магнатам своих королевств (Эссекс, Альба, Конде или Нассау). Великий секулярный бум XVI в., спровоцированный как быстрым демографическим ростом, так и появлением американского золота и торговли, облегчил кредит для европейских принцев и позволил увеличивать затраты без соответственного расширения фискальной системы, хотя в целом происходила интенсификация налогообложения: это был золотой век южногерманских финансистов. Бюрократическая администрация постепенно росла, но она обычно становилась добычей аристократических семей, соревновавшихся за политические привилегии и экономические прибыли, получаемые от должности, и возглавлявших паразитические клиентелы менее влиятельных дворян, которые проникали в государственный аппарат и формировали соперничающие сети патронажа: это была модернизированная версия позднесредневековой системы клиентов и их конфликтов. Фракционные раздоры между сильными семьями, каждая из которых имела в своем распоряжении сегмент государственной машины и часто солидную региональную базу в едва объединенной стране, постоянно выходили на первый план политической сцены⁴⁸. В Англии смертельное соперничество между Дадли и Сеймурами и Лестерами и Сесиями, во Франции убийственная трехсторонняя война между Гизами, Монморенси и наследниками Бурбонов, в Испании жестокая закусная борьба между группами Альба и Эболи задавали тон эпохе. Западные аристократы начали получать университетское образование и культурную подкованность, до того остававшуюся уделом духовенства⁴⁹; однако они еще ни в коем случае не были демилитаризованы в частной жизни, даже в Англии, не говоря о Франции, Италии или Испании. Правящие монархи обычно должны были принимать во внимание независимую силу своих магнатов и

⁴⁷ Книга Лоуренса Стоуна (Lawrence Stone) *The Crisis of the Aristocracy, 1558–1641* (Oxford, 1965) является самым глубоким существующим исследованием метаморфоз европейской аристократии в эту эпоху. Критики сосредоточились на его тезисе, что экономические позиции английского пэрства значительно ухудшились на протяжении исследованного столетия. Однако этот вопрос был вторичным, поскольку «кризис» был гораздо шире, чем простой вопрос о количестве маноров, принадлежавших лордам: он включал тяжелый труд адаптации. Обсуждение Стоуном проблемы военной силы аристократии в этом контексте представляется особенно ценным (Р. 199–270). Недостаток книги скорее состоит в ее ограниченности английским пэрством, очень маленькой группой элиты внутри землевладельческого правящего класса; более того, как будет видно ниже, английская аристократия была чрезвычайно нетипичной для Западной Европы в целом. Необходимо изучение континентальной аристократии, основанное на таком же богатом материале.

⁴⁸ См. недавнюю дискуссию: Elliott J. H. *Europe Divided, 1559–1598*. London, 1968. p. 73–77;

⁴⁹ См. Hexter J. H. *The Education of the Aristocracy in the Renaissance // Reappraisals in History*. London, 1961. P. 45–70.

предлагать им должности, приличествовавшие их рангу: следы симметричной средневековой пирамиды были еще видны в подходах суверена. Только во второй половине века первые теоретики абсолютизма начали пропагандировать концепции божественного права, которые окончательно подняли королевскую власть над ограниченной и взаимной вассальной клятвой сюзеренов Средневековья. Боден был первым и наиболее скрупулезным из них. Однако XVI век завершился в крупных странах, нигде не создав законченной формы абсолютизма: даже в Испании Филипп II был бессилён отправить войска через границу Арагона без разрешения своих лордов.

В действительности же, сам термин «абсолютизм» неверен. Ни одна западная монархия никогда не получала абсолютную власть над своими подданными в значении неограниченного деспотизма⁵⁰. Все были ограничены, даже на вершине своих прерогатив, комплексом концепций, определявших «божественное» или «естественное» право. Теория суверенитета, предложенная Боденом, доминировавшая в европейской мысли все столетие, выразительно воплощала эти противоречия абсолютизма. Ибо Боден был первым мыслителем, систематически и решительно порвавшим со средневековой концепцией власти как осуществления традиционного правосудия и сформулировал современную идею политической власти как суверенной способности создавать новые законы и налагать безусловную обязательность их исполнения. «Основным отличием суверенного величества и абсолютной власти является право налагать законы на подданных без их согласия. <...> Существует различие между правосудием и законом, поскольку одно всего лишь означает беспристрастность, тогда как другое означает управление. Закон есть не что иное, как осуществление сувереном его власти»⁵¹. И все же, провозглашая эти революционные аксиомы, Боден в то же время поддержал самые консервативные феодальные максимы, ограничивавшие базовые фискальные и экономические прерогативы правителей над своими подданными. «Ни один государь в мире не имеет права по собственной воле налагать налоги на свой народ, или произвольно отбирать товары у других, [поскольку] суверенный государь не может нарушать законы природы, установленные Богом – чьим представителем на Земле он является, и, следовательно, не может отбирать собственность у других без справедливой и обоснованной причины»⁵². Таким образом, страстное обоснование новой идеи о суверенитете сочеталось у Бодена с призывом возродить систему феодалов для военной службы и утверждением ценностей сословного представительства: «Суверенитет монарха ни в коем случае не отвергается или умаляется существованием сословного представительства; напротив, его величество еще более велик и прославлен, когда его народ признает его как суверена, даже если в таких собраниях государи, не желающие восстановить против себя подданных, позволяют и соглашаются на такие вещи, на которые не согласились бы без просьбы, мольбы или жалобы народа...»⁵³ Ничто не раскрывает лучше настоящую природу абсолютной монархии в эпоху позднего Возрождения, чем это авторитетное мнение. Ибо практика абсолю-

⁵⁰ Первым и самым основательным вкладом в споры на эту тему является статья Фрица Гартунга и Ролана Муньес: *Mousnier R., Hartung F. Quelques Problemes Concernant la Monarchie Absolue*//X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Relazioni IV. Florence, 1955, особенно P. 4–15. Предшественники видели эту же истину, хотя и в менее систематической форме, среди них Энгельс: «Упадок феодализма и развитие городов являлись двумя децентрализующими силами, предопределившими необходимость абсолютной монархии как силы, способной скрепить в единое целое национальности. Монархия должна была быть абсолютной, просто из-за центростремительного давления всех этих элементов. Ее абсолютизм, однако, не надо понимать в вульгарном смысле. Это был перманентный конфликт с сословиями, мятежными вассалами и городами: нигде органы сословного представительства не были уничтожены полностью». Marx-Engels. Werke. Bd. 21. S. 402. Последняя оговорка, конечно, преувеличение.

⁵¹ *Bodin J. Les Six Livres de la Republique*. Paris, 1578. P. 103, 114. Я перевел *droit* как «правосудие» (*justice*) в этом отрывке, чтобы подчеркнуть различие.

⁵² Ibid. P. 102, 114.

⁵³ Ibid. P. 103.

тизма соответствовала его теории, созданной Боденом. Ни одно абсолютистское государство не могло просто по воле монарха лишить свободы или земельной собственности дворянина или буржуа, как это делалось в современных им азиатских тираниях. Не могли они достичь и полной административной централизации или юридической унификации; корпоративный сепаратизм и региональная гетерогенность, унаследованная от Средневековья, была чертой старого режима вплоть до его окончательного свержения. Абсолютная монархия на Западе была, таким образом, ограниченной дважды: продолжавшими существовать традиционными политическими структурами под нею и присутствием всеобщего морального закона над ней. Другими словами, власть абсолютной монархии осуществлялась в границах класса, чьи интересы она обеспечивала. Острый конфликт между ними развернулся в следующем веке, когда монархия принялась разрушать семейные земельные владения аристократии. Однако надо понимать, что как по-настоящему абсолютная власть никогда не осуществлялась абсолютистскими государствами на Западе, так и борьба между этими государствами и аристократией не могла быть абсолютной. Социальное единство определяло место и временные рамки политических противоречий между ними. Они, однако, имели свое собственное историческое значение.

Следующие сто лет стали свидетелями полного установления абсолютистского государства, в век сельскохозяйственной и демографической депрессии и снижавшихся цен. Именно тогда в полной мере стали ощутимы результаты «военной революции». Армии быстро росли в размерах, становясь астрономически дорогими, в течение нескольких непрерывно расширявшихся войн. Военные операции Тилли не были более значительными, чем те, которыми командовал Альба; однако они выглядели карликовыми по сравнению с проводимыми Тюренном. Затраты на эти массивные военные машины спровоцировали острый кризис доходов абсолютистских государств. Налоговое давление на массы интенсифицировалось. Одновременно продажа государственных должностей и титулов стала центральной финансовой необходимостью для всех монархий и была систематизирована таким образом, которого не знало предыдущее столетие. Результатом стала интеграция растущего числа буржуа-парвеню в ряды государственных служащих, которые становились все более профессиональными, и реорганизация связей между аристократией и самим государственным аппаратом.

Продажа должностей была не просто экономическим изобретением для увеличения доходов, поступавших от имущих классов. Она также выполняла политическую функцию: делая приобретение бюрократической должности рыночной трансакцией и наделяя обладание ею правом наследования, продажа должностей блокировала формирование в государственной системе клиентелы магнатов, зависимой не от безличного денежного эквивалента, а от личных связей и престижа патрона и его дома. Ришелье в своем завещании подчеркнул критическую «стерилизующую» роль *paulette* в выведении административной системы из-под достижимости щупальцев аристократических родов, таких как дом Гизов. Конечно, один паразитизм был сменен другим: место патронажа заняла коррупция. Однако посредничество рынка было безопаснее для государства, чем посредничество магнатов: парижские финансовые синдикаты, дававшие займы государству, собиравшие налоги и покупавшие должности в XVII в., были куда менее опасны для французского абсолютизма, чем провинциальные династии XVI в., которые не только имели в распоряжении целые отделы королевской администрации, но и могли выставить собственные вооруженные силы. Усилившаяся бюрократизация должностей, в свою очередь, создавала новый тип управленцев, хотя и рекрутировавшихся из аристократии и ожидавших от своей должности обычной прибыли, однако проникнутых уважением к государству как таковому и намерением отстаивать его долгосрочные интересы перед лицом близоруких интриг амбициозных или недовольных вельмож. Таковы были аскетичные министры-реформаторы монархий XVII в., в основном граж-

данские служащие, не имевшие какой-либо автономной региональной или военной базы и управлявшие делами государства из своих кабинетов: Оксеншерна, Лод, Ришелье, Кольбер или Оливарес. (Дополнительным типажом в новую эпоху стал слабый близкий друг правящего суверена, *valido*, на которых Испания была такой щедрой, от Лермы до Годоя; Мазарини был странной смесью двух типов.) Именно это поколение расширило и кодифицировало практику двусторонней дипломатии XVI в., превратив ее в многостороннюю международную систему, основополагающим документом которой стал Вестфальский договор, а горнилом, в котором она была выкована, — масштабные войны XVII в.

Эскалация войны, бюрократизация должностей, интенсификация налогообложения, эрозия клиентел вели к одному и тому же результату: к окончательному исчезновению того, что в следующем столетии Монтескье ностальгически назовет «посредствующими властями» между монархией и народом. Другими словами, система сословий терпела неудачу по мере того, как классовая власть аристократии приняла форму центростремительной диктатуры, осуществлявшейся под королевскими знаменами. Реальная власть монархии как института, конечно, никоим образом не соответствовала власти монарха: суверен, который на самом деле управлял администрацией и проводил политику, был исключением из правила, хотя, по очевидным причинам, творческое единство и эффективность абсолютизма всегда достигали максимума, когда эти институты совпадали (как в случае Людовика XIV или Фридриха II). Наибольший расцвет и сила абсолютистского государства великого века (*grand siecle*) были с необходимостью связаны с подавлением традиционных прав и автономий благородного класса, бравших начало в средневековой децентрализации феодальной политики и освященных вековыми традициями и интересами. Последние Генеральные штаты перед революцией созывались во Франции в 1614 г.; последние кастильские Кортесы перед Наполеоном — в 1665; последний ландтаг в Баварии — в 1669; в то время как в Англии самый долгий перерыв в работе парламента продолжался с 1629 г. до начала гражданской войны. Эта эпоха была, таким образом, не только политическим и культурным апогеем абсолютизма, но и временем широко распространенного среди аристократии недовольства и отчуждения от него. Частные привилегии и традиционные права не отдавались без борьбы, особенно в период экономической рецессии и дорогого кредита.

XVII век на Западе был поэтому временем постоянно повторявшихся восстаний местной знати против абсолютистского государства; они часто смешивались с недовольством юристов или купцов, а иногда аристократия даже использовала возмущение страдающих сельских или городских масс в качестве оружия против монархии⁵⁴. Фронда во Франции, Каталонская республика в Испании, неаполитанская революция в Италии, восстание сословий в Богемии и «великий мятеж» в самой Англии в разной степени включали этот протест аристократии против консолидации абсолютизма⁵⁵. Естественно, эта реакция никогда не ста-

⁵⁴ Тревор-Ропер (Trevor-Roper) в своем по праву знаменитом эссе *The General Crisis of the Seventeenth Century // Past and Present*. N 16, November 1959. P. 31–64, сейчас переработанном и перепечатанном в *Religion, The Reformation and Social Change* (London, 1967. P. 46–89), при всех его достоинствах, слишком ограничивает масштаб этих мятежей, представляя их в основном как протесты против расходов и трат постренессанских дворов. На самом деле, как указывали многие историки, война была гораздо более серьезной статьей государственных расходов XVII в., чем двор. Дворцы Людовика XIV были гораздо богаче, чем у Анны Австрийской, но это не делало их более непопулярными. Отдельно от этого, фундаментальный разлом между аристократией и монархией в ту эпоху был не экономическим, хотя военные налоги могли и становились поводом к мятежам. Разлом, однако, был политическим, связанным с общим местом аристократии в зарождающейся политической системе, черты которой оставались еще скрытыми для всех актеров, участвовавших в этой драме.

⁵⁵ Неаполитанский бунт, социально самый радикальный среди этих движений, наименее отвечает этому наблюдению. Но даже там первым штормовым сигналом антииспанского взрыва были аристократические заговоры Санцы, Конверсано и других дворян, враждебных к фискальной политике вице-короля и жиревшей на ней клике спекулянтов и интриговавших с Францией против Испании начиная с 1634 г. Заговоры баронов множились в Неаполе в начале 1647 г., когда неожиданно вспыхнуло народное восстание, возглавленное Мазаньелло и повернуло неаполитанскую аристократию назад к лоялизму. См. блестящий анализ в: *Rosario Villari. La Rivolta Anti-Spagnuola a Napoli. La Origini (1585–1647)*. Bari, 1967. P. 201–216.

новились полномасштабной атакой аристократов на монархию, поскольку они были связаны классовой пуповиной; в том столетии не было и ни одного случая *чисто* аристократического мятежа. Характерной моделью был, скорее, локальный взрыв, в котором регионально ограниченная часть дворянства поднимала знамя аристократического сепаратизма, а уже к ней в общем восстании присоединялись недовольная городская буржуазия и толпы плебеев. Только в Англии, где капиталистический компонент мятежа перевешивал как в сельском, так и городском классах собственников, «великий мятеж» победил. В других странах, таких как Франция, Испания, Италия и Австрия, восстания, в которых доминировали или участвовали аристократы-сепаратисты, были подавлены, и власть абсолютизма восстановлена. Феодальный правящий класс не мог отказаться от достижений абсолютизма, выражавших глубокую историческую необходимость, проявлявшуюся на всем континенте, без того, чтобы поставить под сомнение свое собственное существование; на деле он никогда полностью не разделял цели восстаний. Однако региональный или частный характер этой борьбы не уменьшает ее значения: факторы местного автономизма просто концентрировали недовольство, рассеянное в разных кругах аристократии, и придавали им военно-политическую форму. Протесты в Бордо, Праге, Неаполе, Эдинбурге, Барселоне или Палермо имели гораздо более широкий резонанс. Их окончательное поражение было центральным эпизодом тяжелой работы всего класса в этом столетии, который медленно трансформировал себя, чтобы соответствовать новым, непривычным потребностям новой государственной власти. Ни один класс в истории сразу не воспринимал логику своего исторического положения в эпоху перехода: долгий период дезориентации и смятения был необходим для того, чтобы он выучил нужные правила собственного суверенитета. Западная аристократия в напряженную эпоху абсолютизма XVII в. не была исключением: она должна была приспособиться к резкой и неожиданной смене порядка управления.

Это объясняет очевидный парадокс траектории абсолютизма на Западе. Если XVII в. был полднем беспорядка и смятения в отношениях между аристократией и государством, то XVIII в. был, в сравнении с ним, золотым вечером их примирения и тишины. Превалировала новая стабильность и гармония, когда международная экономическая конъюнктура изменилась, и на большей части Европы установилось относительное процветание, а аристократия вновь обрела уверенность в своей способности управлять судьбами государства. Отползшая реаристократизация высшей бюрократии наступала в одной стране за другой, заставляя предшествовавшую эпоху выглядеть наполненной парвеню. Французское регентство и шведская олигархия шляп были наиболее яркими примерами этого феномена. Но он был замечен и в Испании Карла, и даже в Англии Георга или в Голландии эпохи париков, где буржуазные революции на самом деле сделали государство и доминирующий способ производства капиталистическими. В министрах государства, символизирующих этот период, не хватало творческой энергии и суровой силы их предшественников, но они жили в безмятежном мире с собственным классом. Флери или Шуазель, Энсенада или Аранда, Уолпол или Ньюкасл были репрезентативными фигурами той эпохи.

Цивилизованное поведение абсолютистского государства на Западе в эпоху Просвещения отражает эту модель: сокращение неумеренности и утончение техники, некоторое восприятие буржуазного влияния совмещались с общей потерей динамизма и творческих способностей. Крайние злоупотребления, связанные с продажей должностей были пресечены, и бюрократия стала соответственно менее коррумпированной; хотя ценой этого была система общественных займов для обеспечения эквивалентных доходов, заимствованная из наиболее развитых капиталистических стран, которая вскоре начала топить государство накопленными долгами. Меркантилизм по-прежнему проповедовался и практиковался, хотя новые «либеральные» экономические доктрины физиократов, защищавших свободу торговли и инвестиции в сельское хозяйство, ограниченно распространялись во Франции, Гос-

кане и других местах. Самым важным и интересным изменением в последнее столетие перед Французской революцией был, однако, феномен вне государства. Это было европейское распространение рестрикционизма (*vincolismo*) – лихорадочный поиск аристократией средств для защиты и консолидации большой земельной собственности перед дезинтеграционным давлением и превратностями капиталистического рынка⁵⁶. Английская аристократия после 1689 г. была одной из первых, проложивших этот путь, изобретя «ограниченную передачу», запрещавшую владельцам земли отчуждать семейную собственность и вручавшую права только старшему сыну: две меры, придуманные для того, чтобы заморозить рынок земли в интересах аристократии. Вскоре, одна за другой, главные западные страны создали или улучшили свои собственные варианты закрепления земли за ее традиционными собственниками. *Mayorazgo* в Испании, *morgado* в Португалии, *fideicommissum* в Италии и Австрии и *майорат* в Германии выполняли одну и ту же функцию: сохранить в неприкосновенности огромные владения магнатов и большие латифундии перед угрозой их фрагментации или продажи на открытом коммерческом рынке⁵⁷. Многое в восстановленной стабильности европейской аристократии XVIII в. было, несомненно, обязано экономическому фундаменту этих юридических изобретений. На деле, вероятно, в тот период среди правящего класса было гораздо меньше социальной текучести, чем в предыдущие эпохи, когда семьи и состояния росли и разрушались гораздо быстрее посреди политических и социальных потрясений⁵⁸.

Именно на этом фоне космополитичная культура элиты двора и салона распространилась по Европе, типизированная новым доминированием французского языка в качестве международного языка дипломатического и интеллектуального дискурса. На деле, конечно, под внешним флером эта культура была гораздо глубже проникнута идеями поднимающейся буржуазии, уже нашедшими триумфальное выражение в Просвещении. Особый вес торгового и производящего капитала в большинстве западных общественных формаций поднимался на протяжении этого века, который стал свидетелем второй большой волны торговой и колониальной заморской экспансии. Однако он определял государственную политику только там, где буржуазные революции уже случились, и абсолютизм был свергнут, – в Англии и Голландии. В других местах самым впечатляющим признаком структурной связи позднефеодального государства с его финальной фазой была неизменность военных традиций. Реальная сила войск в основном сравнивалась или немного упала в Западной Европе после Утрехт-

⁵⁶ Не существует всестороннего исследования этого феномена. Он мимоходом обсуждается в книге: *Woolf S.J. Studi sulla Nobilta Piemontese nell' Epoca sell' Assolutismo*. Turin, 1963, которая датирует ее распространение предыдущим веком. Проблему также затрагивают большинство авторов сборника: *The European Nobility in the 18th Century/A. Goodwin (ed.)*. London, 1953.

⁵⁷ Испанский *mayorazgo* был самым старым из этих изобретений, которому к тому времени было уже более двухсот лет; однако он постепенно увеличивался в количестве и масштабах, дойдя даже до включения движимого имущества. Английская «ограниченная передача» была наделе менее жесткой, чем общий континентальный подход *fideicommissum*, поскольку формально относился только к одному поколению; однако на практике последующие наследники также должны были согласиться с ним.

⁵⁸ Весь вопрос мобильности в классе аристократов, от рассвета феодализма до конца абсолютизма требует большого дальнейшего исследования. В настоящее время можно только строить догадки о сменявшихся друг друга фазах этой долгой истории. Дюби пишет о своем удивлении, когда он обнаружил, что мнение Блока о существовании радикального разрыва между аристократией времен Каролингов и Средневековья во Франции оказалось ошибочным: на деле, большая доля родов, поставлявших *vassi dominici* IX в., стали баронами XII в. См.: *Duby G. Une Enquete a Poursuivre: La Noblesse dans la France Medievale // Revue Historique*. N 226. 1961. P. 1–22. С другой стороны, Перрой обнаружил чрезвычайно высокий уровень мобильности среди джентри в графстве Форез начиная с XIII в.: средняя продолжительность аристократического рода составляла 3–4, или, точнее, 3–6 поколений, в основном в связи с высокой смертностью. *Perroy E. Social Mobility among the French Noblesse in the Later Middle Ages // Past and Present*. N 21. April 1962. P. 25–38. В общем, позднее Средневековье и ранний Ренессанс кажутся периодами быстрой смены элит во многих странах, в ходе которой большая часть средневековых домов исчезла. Это верно для Англии и Франции, хотя, вероятно, менее верно – для Испании. Стабилизация рядов аристократии, кажется, завершилась к концу XVII в., после того как последняя и наиболее жестокая перетряска всего, в Богемии Габсбургов во время Тридцатилетней войны, подошла к концу. Однако этот предмет еще может подкинуть нам сюрпризов.

ского мира: физический аппарат войны прекратил расширяться, во всяком случае на суше (на море – другое дело). Но частота войн и их центральное положение в международных отношениях не изменились серьезным образом. На деле, вероятно, больше территорий – классических объектов аристократической военной борьбы – поменяли хозяев за этот век, чем за любой из двух предшествовавших: среди трофеев были Силезия, Неаполь, Ломбардия, Бельгия, Сардиния и Польша. Война «функционировала» в этом смысле вплоть до конца старого режима. Типологически, конечно, кампании европейского абсолютизма были определенным развитием в рамках повторения. Общим детерминантом всех их было феодальное стремление к территории, характерной формой которого являлся династический конфликт начала XVI в. (борьба за Италию Габсбургов и Валуа). На сто лет (1550–1650 гг.) на это наложился религиозный конфликт между силами Реформации и Контрреформации, который никогда не инициировал, но часто обострял геополитическое соперничество и предлагал ему современный идеологический язык. Тридцатилетняя война была самой большой и последней из этих «смешанных» битв⁵⁹. Ее быстро сменил первый из совершенно новых по типу военных конфликтов в Европе, который шел за другие цели и другими способами – англо-голландские торговые войны 1650-1660-х гг., в которых практически все сражения были морскими. Эта конфронтация, однако, ограничивалась двумя европейскими государствами, которые прошли через буржуазные революции, и была, таким образом, строго спором внутри капиталистической системы. Попытка перенять эти цели Кольбером во Франции привела к фиаско в 1670-е гг. Тем не менее, начиная с войны Аугсбургской лиги, торговля была практически всегда дополнительным фактором в главных европейских военных битвах за землю – хотя бы из-за участия в них Англии, чья географическая заморская экспансия была не только полностью торговой по характеру и чья цель была стать мировой колониальной монополией. Отсюда – гибридный характер последних войн XVIII в., в которых две разные эпохи и два разных типа конфликтов противостояли в странной, единой свалке и из которых наиболее ярким примером была Семилетняя война⁶⁰. Это первая в истории война, которая велась по всему земному шару, хотя и в качестве второстепенного события для большинства участников, для которых Манила или Монреаль были перестрелками где-то в глуши по сравнению с Лейтеном или Кунерсдорфом. Ничто лучше не характеризует ослабевшую феодальную проницательность старого режима во Франции, чем его неспособность почувствовать реальные ставки в этих двойных войнах: вместе со своими соперниками он оставался до самого конца нацеленным на традиционную борьбу за землю.

⁵⁹ См. *Koenigberger H. G. The European Civil War/The Habsburgs in Europe. Ithaca, 1971– P 219–285.*

⁶⁰ Научно обоснованный общий анализ Семилетней войны см.: *Dorn W. L. Competition for Empire. P. 318–384.*

3. Испания

Таков был общий характер абсолютизма на Западе. Однако государства, возникшие в разных странах ренессансной Европы, нельзя свести к единому чистому типу. Они демонстрировали разные варианты, которые имели решающее влияние на последующую историю этих стран, ощущаемое до наших дней. Поэтому обзор этих вариантов является необходимым дополнением к рассуждению об общей структуре западного абсолютизма. Испания, первая великая держава современной Европы, представляет собой логическую точку старта.

Подъем Габсбургской Испании был не просто одним из эпизодов в серии современных и эквивалентных опытов строительства государств в Западной Европе; он явился также дополнительным фактором в формировании всей серии как таковой. Таким образом, он занимает качественно отличное место в общем процессе «абсолютизации». Влияние и воздействие испанского абсолютизма было в прямом смысле «чрезмерным» по сравнению с другими западными монархиями того периода. Его влияние на международные дела было наиболее сильным фактором везде на континенте в связи с непропорциональным богатством и силой, находившимися в его распоряжении: историческая *концентрация* этих ресурсов в Испанском государстве не могла не повлиять на общую конфигурацию и развитие государственной системы Запада. Испанская монархия была обязана своим превосходством комбинации двух ресурсных комплексов, которые сами по себе являлись неожиданной проекцией обычных составных частей поднимавшегося абсолютизма на исключительный масштаб. С одной стороны, правящий дом получил больше выгод, чем любой другой в Европе от заключения династических браков. Связи семейства Габсбургов привели Испанское государство к таким территориальным приобретениям и влиянию в Европе, с которыми не могла тягаться ни одна соперничавшая монархия, являя собой высший пример феодального механизма политической экспансии. С другой стороны, колониальное завоевание Нового Света снабдило ее сверхизобилием драгоценных металлов, создав казну, превосходившую пределы возможного для любого из соперников. Организованное и управлявшееся старыми сеньориальными структурами разграбление обеих Америк было в то же время и самым впечатляющим актом первоначального накопления европейского капитала в эпоху Возрождения. Испанский абсолютизм, таким образом, приобретал силу как в результате феодального расширения в Европе, так и от извлекаемого заморского капитала. Конечно же, никогда не возникал вопрос о том, каким социальным и экономическим интересам служил политический аппарат испанской монархии. Ни одно другое абсолютистское государство в Западной Европе не было настолько аристократичным по своему характеру или таким враждебным буржуазному развитию. Само везение, отдавшее ему контроль над шахтами в Америке, с их примитивной, но выгодной экономикой добычи, отбило желание способствовать росту мануфактур или заботиться о распространении торговых предприятий в рамках своей европейской империи. Вместо этого оно обрушивалось всем своим весом на самые активные коммерческие общества континента и, одновременно, угрожало всем остальным в цикле межаристократических войн, которые продолжались 150 лет. Испанская мощь задушила жизненную силу городов Северной Италии и сокрушила процветающие города половины Нидерландов – две самые развитые зоны европейской экономики на рубеже XVI в. Голландия в конечном счете избежала ее контроля в долгой борьбе за буржуазную независимость. В тот же самый период Испания поглотила королевства Южной Италии и Португалию. Франция и Англия подвергались испанским атакам, а княжества Германии – неоднократным набегам кастильских *терций*. В то время как испанские флоты бороздили Атлантику или патрулировали Средиземноморье, испанские армии маршировали по большей части Западной Европы: от Антверпена до Палермо и от Регенсбурга до Кинсейла. Угроза доминирования

Габсбургов, однако, в конце концов ускорила реакцию и укрепила защиту династий, выстроенную против них. Приоритет Испании отвел Габсбургской монархии системообразующую роль в западном абсолютизме. Однако он также, как мы увидим, критически ограничил возможности самого испанского абсолютизма внутри системы, которую он помог создать.

* * *

Испанский абсолютизм был рожден от союза Кастилии и Арагона, созданного свадьбой Изабеллы I и Фердинанда II в 1469 г. Он опирался на прочный экономический фундамент. Во времена дефицита рабочей силы, ставшего результатом общего кризиса западного феодализма, все больше регионов Кастилии начали развивать прибыльную шерстяную экономику, которая сделала ее «Австралией Средневековья»⁶¹ и главным партнером фламандской торговли; Арагон же к тому времени был одной из ведущих территориальных и торговых держав Средиземноморья, контролировавшей Сицилию и Сардинию. Политический и военный динамизм нового дуалистического государства был вскоре проявлен в драматической серии широких внешних завоеваний. Последний оплот мавров – Гранада – был разрушен, и Реконкиста завершена; Неаполь аннексирован; Наварра поглощена; и, сверх всего, была открыта и подчинена Америка. Семейство Габсбургов вскоре присоединило к своим владениям Милан, Франш-Конте и Нидерланды. Эта внезапная лавина успехов сделала Испанию первой державой Европы на весь XVI в., вознеся ее на такое положение, которого ни один континентальный абсолютизм так и не смог впоследствии достичь. И все же государство, руководившее этой обширной империей, было само по себе ветхой конструкцией, объединенной единственно персоной монарха. Испанский абсолютизм, внушавший трепет северным протестантам за границей, был в действительности чрезвычайно мягким и ограниченным в своем домашнем варианте. Его внутренние связи были необычайно свободными. Причины этого парадокса надо, бесспорно, искать в любопытных треугольных отношениях между американской империей, европейской империей и Иберийской метрополией.

Составные королевства Кастилии и Арагона, объединенные Фердинандом и Изабеллой, представляли собой чрезвычайно разнородную основу для конструирования новой испанской монархии в конце XV в. Кастилия была страной, в которой существовала аристократия, обладавшая огромными владениями, и сильные военные ордены; там также существовало множество городов, хотя – и это важно – не было еще определенной столицы. Кастильская аристократия отобрала значительную аграрную собственность у монархии во время гражданских войн позднего Средневековья; 2–3% населения теперь контролировали около 97 % земель, более половины которых, в свою очередь, принадлежали немногим семействам магнатов, возвышавшимся над многочисленным дворянством *идальго*⁶². Выращивание зерна в этих огромных поместьях постепенно уступило место разведению овец. Шерстяной бум, ставший источником богатства многих аристократических домов, стимулировал в то же время рост городов и внешнюю торговлю. Кастильские города и кантабрийское судоходство выиграли от процветания пасторальной экономики позднесредневековой Испании, связанной комплексной коммерческой системой с текстильной промышленностью Фландрии. Таким образом, с самого начала экономические и демографические особенности Кастилии в Союзе давали ей преимущество: с населением численностью примерно 5–7 миллионов и оживленной заморской торговлей с Северной Европой, она легко становилась доминирующим государством на полуострове. Политически ее государственное устройство

⁶¹ Фраза принадлежит Висенсу: См.: *Viceng Vives J.* Manual de Historia Economica de Espana. Barcelona, 1974. P. 11–12, 231.

⁶² См. *Elliott J.H.* Imperial Spain, 1469–1716. London, 1970. P. 111–113.

было любопытным образом не определено. Кастилия-Леон – одно из первых средневековых королевств в Европе, в котором в XIII в. развилась система сословий; тогда как к середине XV в. фактическое господство аристократии над монархией имело большие перспективы. Однако власть позднесредневековой аристократии не приобрела никакой юридической формы. Кортесы фактически оставались ассамблеей, созывавшейся по случаю и с неопределенными полномочиями; вероятно, из-за мигрирующего характера кастильского королевства, которое сдвигалось на юг и по мере этого перетасовывало свою общественную модель, там так и не возникло твердой и фиксированной институционализации системы сословий. Таким образом, созыв и состав кортесов был предметом произвольного решения монархии, в результате чего сессии созывались нерегулярно, а постоянная трехкуральная система по-прежнему отсутствовала. С одной стороны, кортесы не имели полномочий инициировать законодательство, с другой – аристократия и духовенство сохраняли фискальный иммунитет. В результате возникла система сословного представительства, в которой только города должны были платить налоги, за которые проголосовали кортесы. Аристократия, таким образом, не имела прямой экономической заинтересованности в своем участии в кастильском сословном представительстве, которая была сравнительно слабым и изолированным институтом. Аристократический корпоративизм находил выражение в богатых и грозных военных орденах (Калатрава, Алькантара и Сантьяго), созданных крестоносцами; однако им по самой природе не хватало коллективной власти благородного сословия.

Экономический и политический характер королевства Арагон⁶³ находился в резком контрасте с вышеописанным. Внутренние области Арагона прятали наиболее репрессивную сеньориальную систему на Иберийском полуострове; местная аристократия пользовалась всем спектром феодальной власти в бесплодной сельской местности, в которой все еще существовало крепостное право и крестьяне-*мориски* возделывали ее для своих хозяев-христиан. Каталония, с другой стороны, традиционно была центром торговой империи на Средиземном море: Барселона была крупнейшим городом средневековой Испании, и ее городской патрициат был богатейшим коммерческим классом в регионе. Каталонское процветание, однако, серьезно пострадало во времена долгой феодальной депрессии. Эпидемии XIV в. ударили по княжеству с особой жестокостью, возвращаясь снова и снова после «черной смерти», уничтожая население, сократившееся в 1365–1497 гг. более чем на треть⁶⁴. Коммерческие банкротства дополнялись агрессивной конкуренцией со стороны Генуи в Средиземноморье, в то время как мелкие торговцы и ремесленные гильдии бунтовали против городских патрициев. В сельской местности крестьянство взбунтовалось, чтобы сбросить «дурные традиции» и захватить обезлюдившие земли в ходе восстаний *ременсов* в XV в. Наконец, гражданская война между монархией и аристократией, затянувшая в свой водоворот другие социальные группы, еще более ослабила каталонскую экономику. Ее заморские базы в Италии остались, однако, нетронутыми. Валенсия, третья провинция королевства, находилась в социальной плане посередине между Арагоном и Каталонией. Аристократия эксплуатировала труд *морисков*; торговое сообщество расширялось на протяжении XV в., когда финансовое господство распространялось вниз по побережью от Барселоны. Рост Валенсии, тем не менее, не был достаточной компенсацией за упадок Каталонии. Экономическое неравенство между двумя королевствами союза, созданного браком Фердинанда и Изабеллы, очевидно из того факта, что население трех провинций Арагона, вместе взятых, составляло, вероятно, около 1 миллиона человек – по сравнению с 5–7 миллионами кастильцев. Политический контраст между двумя королевствами был не менее впечатляющим. Арагон обладал, вероятно, самой сложной и укрепленной системой сословного пред-

⁶³ Арагонское королевство само было союзом трех княжеств: Арагона, Каталонии и Валенсии.

⁶⁴ Elliott J.H. Imperial Spain. P. 37.

ставительства в Европе. Все три провинции (Каталония, Валенсия и Арагон) имели собственные отдельные кортесы. В каждой существовали, в дополнение к ним, специальные наблюдательные институты постоянного юридического контроля и экономического управления, исходящего от кортесов. Каталонский *Diputació* – постоянный комитет кортесов – являлся наиболее эффективным примером. Более того, кортесы должны были по статусу собираться через регулярные интервалы и требовали единогласия – изобретение уникальное для Западной Европы. Арагонские кортесы сами содержали проработанную четырехкурительную систему, включавшую магнатов, духовенство, дворянство и бюргеров⁶⁵. В целом этот комплекс средневековых «свобод» создавал чрезвычайно трудную перспективу для создания централизованного абсолютизма. Институциональная асимметрия порядков в Кастилии и Арагоне предопределила все последующее развитие испанской монархии.

Понятно, что Фердинанд и Изабелла выбрали курс на концентрацию и создание непоколебимой королевской власти в Кастилии, где условия для этого были наиболее подходящими. Арагон представлял гораздо более труднопреодолимые препятствия для создания централизованного государства и гораздо менее прибыльную перспективу экономической фискализации. В Кастилии проживало в 5–6 раз больше людей, и их большее богатство не было защищено никакими сравнимыми конституционными барьерами. Поэтому два монарха приступили к методичному выполнению программы ее административной реорганизации. Военные ордены были обезглавлены, а их обширные земли и доходы изъяты. Баронские замки были разрушены, маркграфы изгнаны, и частные войны запрещены. Муниципальная автономия городов была ликвидирована путем назначения *коррехидоров* для управления ими; королевская юстиция была усилена и расширена. Контроль над доходами Церкви был передан государству, а местный церковный аппарат лишен прямого выхода на Папский престол. Кортесы были постепенно приручены, когда после 1480 г. аристократия и духовенство просто перестали приглашаться на их заседания. Поскольку главным поводом для их созыва было поднятие налогов для финансирования военных расходов (прежде всего на Гранадскую и Италийскую войны), от которых первые два сословия были избавлены, у них не было причин протестовать против своего исключения. Налоговые поступления выросли впечатляюще: кастильские доходы поднялись с примерно 900 тысяч реалов в 1474 г. до 26 миллионов в 1504 г.⁶⁶ Королевский совет был реформирован и избавлен от влияния магнатов; новый орган был заполнен юристами-бюрократами или *летрадос*, рекрутированными из мелкопоместного дворянства. Профессиональные секретари, работавшие напрямую с монархами, руководили повседневными делами. Другими словами, кастильская государственная машина была рационализирована и модернизирована. Однако новая монархия никогда не противопоставляла ее классу аристократии в целом. Высшие дипломатические и военные должности были всегда зарезервированы за магнатами, которые оставались вице-королями и губернаторами, в то время как дворяне низших рангов заполняли должности *коррехидоров*. Королевские владения, захваченные после 1454 г., были возвращены монархии, однако большинство тех, что были присвоены ранее, остались в руках аристократии; новые поместья в Гранаде прибавились к их владениям, и был подтвержден *mayorazgo*, закреплявший неприкосновенность сельскохозяйственной собственности. Более того, широкие привилегии были предоставлены сельским интересам шерстяного картеля *Месма*, в котором доминировали южные латифундисты; в то время как дискриминационные меры против зернового производства в итоге закрепили розничные цены на зерно. В городах удушающая

⁶⁵ Дух арагонского конституционализма выражается в тексте присяги на верность, приписываемой тамошней аристократии: «Мы, которые равны тебе, клянемся тебе, который не лучше нас, признать тебя нашим королем и сувереном, при условии что ты будешь соблюдать все наши свободы и законы; а если нет, то нет». Сама формула, вероятно, просто легенда, но ее дух присутствовал в институтах Арагона.

⁶⁶ Деятельность Фердинанда и Изабеллы в Кастилии описана в: *Elliot J.H. Imperial Spain*. P. 86–99.

система гильдий была навязана новорожденной городской промышленности, а религиозные преследования новообращенных (*converses*) привели к исходу еврейского капитала. Все эти политические меры проводились в Кастилии с большой энергией и решимостью.

В Арагоне, с другой стороны, не было предпринято даже попыток осуществить политическую программу сравнимых масштабов. Здесь, напротив, самым большим достижением Фердинанда, было общественное примирение и восстановление позднесредневекового государственного устройства. Крестьяне *ременса* получили в конце концов свободу от крепостных повинностей в «Гвадалупской сентенции» 1486 г., что уменьшило недовольство в деревне. Доступ в каталонскую *Diputacio* был расширен путем введения жеребьевки. Во всем остальном правление Фердинанда однозначно подтвердило отдельную идентичность Восточного королевства: каталонские свободы были в полном объеме признаны в *Observancia* 1481 г., и дополнительные меры защиты от королевского вмешательства были добавлены к уже существовавшему арсеналу противостояния любой форме монархической централизации. Редко бывавший в родной стране Фердинанд назначил вице-королей во все три провинции для осуществления власти и создал Совет Арагона, в основном размещавшийся в Кастилии, для общения с ними. В результате Арагон был предоставлен своим собственным механизмам управления; даже производители шерсти – всемогущие на другом берегу Эбро – не смогли получить санкцию на перегон овец через его сельскохозяйственные земли. Поскольку Фердинанд был обязан торжественно подтвердить все его привилегии, не возникало и вопроса об административном объединении Арагона и Кастилии. Католические величества не только не создали по-настоящему единого королевства, но и не смогли даже ввести общую денежную единицу⁶⁷, не говоря уже об общей налоговой или правовой системе в своих королевствах. Инквизицию – уникальный для Европы феномен – надо рассматривать именно в этом контексте: она была единственным объединенным «испанским» институтом на полуострове, перегруженным идеологическим аппаратом, компенсировавшим административное разделение и рассредоточение государства.

Восшествие на престол Карла V осложнило, но не изменило заметным образом эту модель; пожалуй, оно лишь подчеркнуло ее. Непосредственным результатом прихода суверена-Габсбурга стал новый и очень космополитичный двор, в котором доминировали фламандцы, бургундцы и итальянцы. Финансовое вымогательство нового режима вскоре спровоцировало волну интенсивной народной ксенофобии в Кастилии. Отъезд самого монарха в Северную Европу стал сигналом к широкому городскому мятежу против того, что ощущалось как узурпация иностранцами кастильских ресурсов и позиций. Восстание *коммунеро* в 1520–1521 гг. получило первоначальную поддержку от многих городских аристократов и апеллировало к традиционному набору конституционных требований. Однако его движущей силой были массы ремесленников в городах, а его лидерами – представители городской буржуазии северной и центральной Кастилии, торговые и мануфактурные центры которой испытали экономический бум в предшествовавший период⁶⁸. Они почти не нашли поддержки в сельской местности, ни среди крестьян, ни среди сельской аристократии; движение серьезно не повлияло на регионы, где города были немногочисленными или слабыми, – Галицию, Андалузию, Эстремадуру или Гвадалахару. «Федеративная» или «протонациональная» программа революционной Хунты, созданной кастильскими коммунами во время восстания, выдавала его как мятеж третьего сословия⁶⁹. Его разгром королевскими армиями, которые поддержала аристократия, как только радикализм восставших стал оче-

⁶⁷ Единственным шагом к монетарной унификации была чеканка трех золотых монет высокого номинала и одинаковой стоимости в Кастилии, Арагоне и Каталонии.

⁶⁸ См.: *Maravall J. A. Las Comunidades de Castilla. Una Primera Revolucion Moderna*. Madrid, 1963. P. 216–222.

⁶⁹ См. *Ibid.* P. 44–45, 56–57, 156–157.

виден, был критически важным шагом на пути к консолидации испанского абсолютизма. Подавление восстания *коммунеро* практически уничтожило последние остатки договорной конституции в Кастилии и приговорило кортесы – для которых *коммунеро* требовали регулярного созыва раз в три года – к небытию. Значительно важным, однако, был факт, что наиболее серьезной победой Испанской монархии над организованным сопротивлением королевскому абсолютизму в Кастилии – вернее, его единственным настоящим военным противостоянием оппозиции в этом королевстве – был военный разгром городов, а не аристократии. Нигде больше в Западной Европе ничего подобного с новорожденным абсолютизмом не произошло: обычной моделью было подавление аристократического, а не буржуазного сопротивления, даже в тех случаях, когда они тесно переплетались. Триумфальная победа над кастильскими коммунами в самом начале существования испанской монархии предопределила отличие ее дальнейшего пути от других западных стран.

Самым впечатляющим достижением времен правления Карла V было, конечно же, значительное расширение международной орбиты Габсбургов. В Европе к наследственным землям правителей Испании отошли Нидерланды, Франш-Конте и Милан, в то время как в Америке были завоеваны Мексика и Перу. В течение всей жизни императора вся Германия была театром военных действий из-за этих наследственных владений. Территориальная экспансия усилила стремление молодого абсолютистского государства в Испании к передаче управления разными династическими владениями отдельным советам и вице-королям. Канцлер Карла V пьемонец Меркурио Гаттинара, вдохновленный универсалистскими идеями Эразма, боролся за создание более компактной и эффективной исполнительной власти для громоздкой империи Габсбургов, создав для нее унитарные институты министерского типа – Совет финансов, Военный совет и Государственный совет (последний теоретически должен был стать вершиной всего имперского здания), отвечавший за все регионы империи. Их поддерживал растущий постоянный секретариат гражданских служащих в распоряжении монарха. В то же самое время постепенно формировалась новая серия территориальных советов, причем сам Гаттинара создал первый из них для управления Индиями. К концу века существовало уже не менее шести таких региональных Советов: для Арагона, Кастилии, Индий, Италии, Португалии и Фландрии. Кроме Кастильского, ни один из них не был в достаточной степени укомплектованным местными чиновниками, и вся административная работа была доверена вице-королям, которых издалека контролировали и которыми, часто неумело, управляли эти Советы⁷⁰. Власть вице-королей была, в свою очередь, очень ограничена. Только в Америке у них в подчинении была собственная бюрократия, но зато коллегии судей (*audiencias*) отобрали у вице-королей судебную власть, которой они пользовались в других регионах; в то же время в Европе им надо было договариваться с местной аристократией (сицилийской, валенсианской или неаполитанской), которая обычно претендовала на монополию на занятие публичных должностей. В результате любая настоящая унификация как в рамках огромной империи, так и на самом Иберийском полуострове была заблокирована. Америки были юридически прикреплены к королевству Кастилия, Южная Италия – к Арагону. Атлантическая и средиземноморская экономика не встречались в рамках одной коммерческой системы. Разделение между двумя оригинальными королевствами Союза внутри Испании было на практике усилено заморскими владениями теперь присоединенными к ним. Для юридических целей Каталония могла бы быть просто приравнена по статусу к Сицилии или Нидерландам. В самом деле, к XVII в. власть Мадрида в Неаполе или Милане была выше, чем в Барселоне или Сарагосе. Само разрастание Габсбургской

⁷⁰ Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. II. Oxford, 1969. P. 19–20.

империи, таким образом, переросло ее способности к интеграции и предотвратило процесс административной централизации в самой Испании⁷¹.

В то же время правление Карла V дало старт роковой последовательности европейских войн, которые стали ценой испанского господства на континенте. На южном театре своих бесчисленных кампаний Карл достиг ошеломляющего успеха: именно в то время Италия стала управляться испанцами, Франция была изгнана с полуострова, Папский престол запуган, а турецкая угроза отброшена. С того времени самое развитое городское общество в Европе стало военной базой испанского абсолютизма. На северном театре своих военных действий, однако, император зашел в дорогостоящий тупик: Реформация осталась непобежденной в Германии, несмотря на повторявшиеся попытки сокрушить ее, а наследственные враги Валуа пережили все поражения Франции. Более того, финансовое бремя постоянной войны на Севере серьезно деформировало традиционную лояльность Нидерландов к концу правления Карла, подготовив несчастья, которые ожидали в Нижних Землях Филиппа II. Размеры и стоимость армий Габсбургов постоянно и стремительно росли на протяжении всего правления Карла V. До 1529 г., испанские войска в Италии никогда не насчитывали более 30 тысяч человек, в 1536–1537 гг на войну с Францией было мобилизовано 60 тысяч солдат, к 1552 г. под командой императора находилось уже, вероятно, 150 тысяч человек⁷². Финансовые заимствования и налоговый пресс выросли соответственно: доходы Карла V утроились ко времени его отречения в 1556 г.⁷³, однако королевские долги были настолько внушительными, что через год его наследником было объявлено банкротство государства. Испанская империя в Старом Свете, унаследованная Филиппом II, всегда административно разделенная, становилась экономически несостоятельной к середине века: именно Новый Свет обновил ее казну и продлил ее раскол.

Начиная с 1560-х гг. влияние американской империи на испанский абсолютизм все более определяло ее будущее, хотя важно не смешивать разные уровни, на которых этот эффект работал. Открытие рудников в Потоси чрезвычайно увеличило поток колониального золота в Севилью. Поставка большого количества серебра из обеих Америк, начиная с этого времени, стало решающим ресурсом (*facility*) испанского государства. Она обеспечила испанский абсолютизм изобильным и постоянным чрезвычайным доходом, выходящим за рамки обычного дохода европейских государств. Это означает, что абсолютизм в Испании мог долгое время продолжаться обходиться без медленной налоговой и административной унификации, которая была предварительным условием абсолютизма в других странах. Упрямое непокорство Арагона компенсировалось безграничным согласием Перу. Колонии, другими словами, работали структурными заместителями провинций, в политической системе, где традиционные провинции были замещены автаркическими вотчинами. Ничто сильнее не иллюстрирует это положение, чем совершенное отсутствие сколько-нибудь пропорционального вклада в испанские военные усилия в Европе в конце XVI–XVII в. со стороны Арагона и даже Италии. Кастилия вынуждена была нести бремя налогов на бесконечные военные кампании за рубежом практически в одиночку: за ней, буквально образом, лежали рудники Индии. Общая доля американской дани в испанском имперском бюджете была, конечно, намного меньше, чем в то время предполагали завистники: в разгар плавания

⁷¹ Маркс разбирался в парадоксе габсбургского абсолютизма в Испании. После заявления, что «вот тогда-то исчезли испанские вольности под звон мечей, в потоках золота и в зловещем зареве костров инквизиции», он задал вопрос: «Как же объяснить то странное явление, что после почти трех столетий владычества династии Габсбургов, а вслед за ней династии Бурбонов – каждой из этих династий в отдельности было бы достаточно, чтобы раздавить народ, – муниципальные вольности Испании до известной степени сохранились? Как объяснить, что в той стране, где раньше, чем где-либо в другом феодальном государстве, возникла абсолютная монархия в самом чистом виде, централизация так и не смогла укорениться?» (Маркс К., Энгельс Ф. Революционная Испания // Соч. 2-е изд. Т. 10.) Он, однако, не дал адекватного ответа на это вопрос.

⁷² Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567–1659. Cambridge, 1972. P. 6.

⁷³ См. Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. I. P. 128. Цены, конечно, тоже сильно выросли за это время.

«золотых кораблей», колониальное золото составляло всего лишь около 20–25 % доходов⁷⁴. Большую часть остальных доходов Филиппа II доставляли домашние кастильские налоги: традиционный налог с продаж (*алькабала*), особые *servicio*, налагаемые на бедных, *cruzada*, собираемая с санкции Церкви с духовенства и мирян, облигации (*juros*), продававшиеся богатым. Американские драгоценные металлы, однако, играли свою роль в поддержании налоговой базы государства Габсбургов. Чрезвычайно высокий уровень налогов следующих правлений, косвенно поддержанный частным переводом золота в Кастилию, объем которого был в среднем вдвое выше, чем от общественных доходов⁷⁵; заметный успех *juros* как изобретения для изъятия финансов (первое широко распространенное использование таких облигаций абсолютной монархией в Европе) частично объяснялось его способностью открыть этот новый денежный кран. Более того, колониальный рост королевских доходов сам по себе был достаточно убедительным, чтобы влиять на испанскую внешнюю политику и на природу испанского государства. Доходы прибывали в виде звонкой монеты, которую можно было сразу пустить на финансирование движения войск или дипломатические маневры в Европе; они же давали Габсбургам возможность получать такие кредиты на международном финансовом рынке, о которых не мог мечтать ни один другой правитель⁷⁶. Огромные военные и морские операции, которые осуществлял Филипп II, от Ла-Манша до Эгейского моря и от Туниса до Антверпена стали возможными только благодаря чрезвычайной финансовой гибкости, обеспеченной американскими доходами.

В то же самое время влияние американских драгоценных металлов на испанскую экономику, в отличие от ее влияния на кастильское государство, было не менее важным, хотя и в ином отношении. В первой половине XVI в. умеренный уровень их поставки (с большей долей золота) предоставлял стимулы для кастильского экспорта, быстро откликнувшегося на инфляцию, вызванную появлением колониальных сокровищ. Поскольку 60–70 % этого золота, которое не попадало напрямую в королевский кошелек, надо было покупать как обычный товар у местных американских предпринимателей, торговля с колониями, особенно текстилем и вином, бурно развивалась. Монопольный контроль над этим захваченным рынком первоначально приносил прибыль кастильским производителям, которые могли торговать на нем по инфляционным ценам, хотя потребители на родине вскоре стали громко роптать на выросшую стоимость жизни⁷⁷. Однако для кастильской экономики в целом в этом процессе было два фатальных поворота. Сначала выросший колониальный спрос привел к дальнейшему переводу земель с производства зерновых на вино и оливки. Это усилило уже катастрофическую тенденцию, поощрявшуюся монархией, к сокращению производства пшеницы за счет шерсти: испанская шерстяная промышленность, в отличие от английской, была не фермерской, а перегонной, а потому чрезвычайно разрушительной для обрабатываемой земли. В результате этого двойного давления Испания стала главным импортером зерна к 1570-м гг. Структура кастильского сельского общества уже к этому времени была не похожа ни на одну другую страну в Западной Европе. Зависимые держатели и крестьяне были меньшинством в сельской местности. В XVI в. более половины сельского населения Новой Кастилии (вероятно, 60–70 %) были сельскохозяйственными рабочими или *jornaleros*⁷⁸, а в Андалузии их доля была, видимо, еще выше. Деревни страдали от массовой безработицы и тяжелой феодальной ренты на землях сеньора. Самым поразитель-

⁷⁴ Elliott J.H. The Decline of Spain // Past and Present. N 20. November 1961; также в: Crisis in Europe, 1560–1660/T. Aston (ed.). P. 189; Imperial Spain. P. 285–286.

⁷⁵ Линч четко сформулировал это утверждение: Spain under the Habsburg. Vol. I. P. 129.

⁷⁶ См. Vilar P. Oro y Moneda en la Historia, 1450–1920. Barcelona, 1969. P. 78, 165–168.

⁷⁷ См. Ibid. P. 180–181.

⁷⁸ См. Salomon N. La Campagne de Nouvelle Castille a la Fin du XVIe Siecle. Paris, 1964. P. 257–258, 266.

тельным фактом было то, что испанские переписи 1571 и 1586 гг. показывают нам общество, в котором лишь около $\frac{1}{3}$ мужского населения занято в сельском хозяйстве; тогда как не менее чем $\frac{2}{5}$ вообще не принимают прямого участия в производстве, создавая преждевременный и раздутый «третичный сектор» абсолютистской Испании, который предопределил будущий вековой застой⁷⁹. Но общий ущерб, нанесенный колониальными доходами, не был ограничен сельским хозяйством, доминирующей отраслью производства того времени, ибо ввоз золотых слитков из Нового Света был также причиной паразитизма, который во всевозрастающей степени иссушал и задерживал развитие отечественных мануфактур. Ускоренная инфляция увеличивала стоимость производства текстильной промышленности, функционировавшей в рамках очень жестких технических ограничений, до того момента, когда кастильская одежда была вытеснена как с отечественного, так и с колониального рынка. Голландские и английские контрабандисты начали снимать сливки с американского спроса, а более дешевые иностранные товары завоевали саму Кастилию. Кастильский текстиль пал к концу века жертвой боливийского серебра. Тогда поднялся крик: *Espana son las Indias del extraniero!*: Испания стала Америкой в Европе, колониальной свалкой для иностранных товаров. Таким образом, как сокрушалось множество современников, и аграрная, и городская экономики сгорели в конце концов в пламени американских сокровищ⁸⁰. Производительный потенциал Кастилии был подорван той самой империей, которая закачивала ресурсы в военный аппарат государства для беспрецедентных авантур за рубежом.

И все же существовала связь между двумя этими эффектами. Если американская империя несла гибель испанской экономике, то именно европейская империя разрушила государство Габсбургов и первая сделала продолжительную борьбу за вторую финансово возможной. Без золотых поступлений в Севилью колоссальные военные усилия Филиппа II были бы невыносимы. Однако именно эти усилия уничтожили изначальную структуру испанского абсолютизма. Долгое правление Благоразумного короля, занявшее всю вторую половину XVI в., не было само по себе однообразным перечнем внешнеполитических неудач, несмотря на огромные расходы и изнурительные неудачи на международной арене. Его основная схема была, на деле, неотличима от той, что преследовала Карла V: успех на Юге, поражение на Севере. В Средиземноморье турецкая военно-морская экспансия была окончательно остановлена в сражении при Лепанто в 1571 г., победа, которая с тех пор ограничила действия оттоманского флота домашними водами. Португалия была мягко включена в Габсбургский блок путем династической дипломатии: ее включение в империю повлекло за собой присоединение многочисленных лузитанских владений в Азии, Африке и Америке к испанским колониям в Индиях. Собственные испанские имперские владения были расширены завоеванием Филиппин на Тихом океане – с точки зрения логистики и культуры самая дерзкая колонизация своего века. Военный аппарат испанского государства постепенно оттачивал навыки и эффективность, так что его система организации и снабжения стала самой передовой в Европе. Традиционное желание кастильских *идальго* служить в *терциях* укрепляло ее пехотные полки⁸¹, в то время как итальянские и валлонские провинции были надежным источником солдат, если не налогов, для международной политики Габсбургов; важно, что многонациональный контингент габсбургских армий сражался лучше на чужой земле,

⁷⁹ Португальский историк первым отметил значение этой необычной структуры занятости, которая, по его мнению, была характерна и для Португалии:

⁸⁰ О реакции современников к концу XVII в. см. превосходную статью Вилара: *Vilar. Le Temps du Quichotte //Europe. Vol. XXXIV. 1956. P. 3–16.*

⁸¹ Характерно замечание герцога Альбы: «Для нашего народа ничего нет более важного, чем отдать благородных и состоятельных людей в пехоту, чтобы не оставлять все в руках работников и лакеев». *Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567–1659. Cambridge, 1972. P. 41.*

чем на родной, и сама его разнородность позволяла гораздо в меньшей степени полагаться на внешних наемников. Впервые в современной Европе большие постоянные армии успешно содержались на большом расстоянии от имперской родины на протяжении десятилетий. Начиная с прибытия Альбы и до самого окончания Восьмидесятилетней войны с голландцами⁸² армия Фландрии насчитывала в среднем 65 тысяч человек – беспрецедентное достижение⁸³. С другой стороны, постоянное размещение этих войск в Нидерландах создало само поменяло ход истории. Голландия, роптавшая от недовольства из-за непомерных налогов и религиозных преследований Карла V, взорвалась, сотворив первую буржуазную революцию в истории, в результате давления Тридентского централизма Филиппа II. Мятеж Нидерландов представлял собой прямую угрозу жизненным испанским интересам, поскольку две экономики, близко связанные со времен Средневековья, в значительной степени взаимно дополняли друг друга: Испания экспортировала шерсть и золото в Нижние земли, и импортировала текстиль, металлические изделия, зерно и шкиперские инструменты. Более того, Фландрия обеспечивала стратегическое окружение Франции и была, таким образом, осью габсбургского международного господства. И все же, несмотря на огромные усилия, испанская военная мощь оказалась неспособной сломить сопротивление Соединенных Провинций. Более того, вооруженное вмешательство Филиппа II в религиозные войны во Франции и его морская атака на Англию – две попытки расширения первоначального театра военных действий во Фландрии – были отбиты: гибель Армады и восхождение на трон Генриха IV стали знаком двойного поражения его политики на Севере. И все же международный баланс к концу его правления все еще очевидно внушительно склонялся в сторону Испании – опасным образом для его преемников, которым он завещал ощущение неуменьшенной континентальной мощи. Южные Нидерланды были отвоеваны и укреплены. Лузитано-Испанский флот был быстро восстановлен после 1588 г. и успешно отбивал английские нападения на маршруты атлантического золота. Французская монархия отказалась наконец от протестантизма.

Дома, однако, наследие Филиппа II на рубеже XVII в. было более мрачным. Кастилия теперь впервые имела постоянную столицу в Мадриде, где размещалось центральное правительство. Совет государства, в котором доминировали магнаты, рассматривавшие важнейшие вопросы политики, получил противовес в виде королевского секретариата, где исполнительные юристы-функционеры обеспечивали монарха-бюрократа понятными ему инструментами управления. Административная унификация династических владений, однако, не была последовательной. Абсолютистские реформы проводились в Нидерландах, где они привели к разгрому, и в Италии, где они добились умеренного успеха. На самом Иберийском полуострове, по контрасту, не предпринималось даже никаких попыток в этом направлении. Португальская конституционная и правовая автономия скрупулезно уважалась; кастильское вмешательство не нарушало традиционных порядков западного королевства. В восточных провинциях арагонский партикуляризм провоцировал короля, вооруженным путем защищая его беглого секретаря Антонио Переса от королевской юстиции: в 1591 г. армия подавила этот вопиющий мятеж, но Филипп воздержался от постоянной оккупации Арагона или от серьезного изменения его конституции⁸⁴. Шанс на централизацию был сознательно отвергнут. Между тем экономическое положение как страны, так и монархии к концу века ухудшалось угрожающим образом. Поставки серебра в 1590–1600 гг. достигли рекордных уровней, но военные расходы выросли к этому времени так сильно, что

⁸² Восьмидесятилетняя война – Нидерландская буржуазная революция, длившаяся с 1568 по 1648 г. Прибытие герцога Альбы в 1567 г. и его жесткая политика послужили последним толчком к восстанию. – *Прим. пер.*

⁸³ Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road. P. 27–31.

⁸⁴ Филипп II ограничился тем, что сократил полномочия местных *Diputacio* (в которых было отменено правило единогласия) и должности *Justicia* и назначил в Арагон неместных вице-королей.

в Кастилии был введен новый налог на потребление, главным образом на продукты питания (*millones*), который с тех пор стал тяжелейшим бременем для рабочей бедноты на селе и в городах. Общие доходы Филиппа II выросли к концу его правления более чем в 4 раза⁸⁵; несмотря на это, в 1596 г. его настигло банкротство. Три года спустя ужаснейшая чума той эпохи накрыла Испанию, истребив значительную часть населения полуострова.

За воцарением Филиппа III последовало заключение мира с Англией (1604), еще одно банкротство (1697), а затем вынужденное перемирие с Голландией (1609). При новом дворе доминировал валенсийский аристократ Лерма, легкомысленный и продажный *privado* (фаворит), пользовавшийся личным влиянием на короля. Мир принес с собой расточительство придворных и умножение почестей; прежний секретариат лишился политического влияния, в то время как кастильская аристократия снова сосредоточилась в центре государства. Два государственных решения Лермы стоят того, чтобы о них вспомнить, – это систематическое использование девальвации для решения проблемы королевских финансов путем наводнения страны неполноценными медными *веллонами* и массовое изгнание *морисков* из Испании, которое ослабило сельскую экономику Арагона и Валенсии и неизбежным результатом которого стал рост цен и дефицит рабочей силы. В долгосрочном плане, однако, гораздо более тяжелым был тихий сдвиг, случившийся в торговых отношениях между Испанией и Америкой. Начиная примерно с 1600 г. американские колонии становились все более экономически самостоятельными и не нуждались в первичных товарах, которые они традиционно импортировали из Испании, – зерне, масле и вине; грубую ткань теперь тоже начали производить на месте; быстро развивалось кораблестроение, и межколониальная торговля переживала бум. Эти перемены совпали с ростом креольской аристократии в колониях, чье богатство основывалось в большей мере на сельском хозяйстве, чем на рудниках⁸⁶. На самих рудниках негативно сказались последствия углублявшегося кризиса со второго десятилетия XVII в. Частично в результате демографического коллапса индейской рабочей силы из-за опустошающих эпидемий и сверхэксплуатации на подземных работах, а частично в связи с исчерпанием залежей добыча серебра стала уменьшаться. После пика, достигнутого в предыдущем столетии, это падение было сначала постепенным. Однако содержание и направление торговли между Старым и Новым Светом необратимо менялись, в убыток Кастилии. Колониальный импорт сменился на мануфактурные товары, которые не могла поставлять Испания и которые контрабандой провозились английскими и голландскими купцами; местный капитал реинвестировался на месте, вместо того чтобы быть переведенным в Севилью; а местное мореплавание увеличивало свою долю в атлантическом тоннаже. Итогом было катастрофическое падение испанской торговли с американскими владениями, объем которой с 1606–1610 по 1646–1650 гг. упал на 60 %.

Во времена Лермы далекоидущие последствия этих процессов были скрыты в будущем. Однако относительный закат Испании на морях и подъем протестантских держав Англии и Голландии за ее счет были уже заметны. Попытки обратного завоевания Голландской республики и вторжения в Англию провалились уже в XVI в. Но с тех времен два морских противника Испании стали более процветающими и сильными, в то время как реформированная Церковь продолжала завоевывать Центральную Европу. Приостановка военных действий на десятилетие при Лерме лишь убедила новое поколение имперских генералов и дипломатов – Зунига, Гондомара, Осуну, Бедмара, Фуэнтеса, – что, несмотря на дороговизну войны, Испания не может позволить себе мир. Воцарение Филиппа IV, приведшее к власти в Мадриде могущественного графа-герцога Оливареса, совпало с беспорядками в Богемии, принадлежавшей австрийской ветви семьи Габсбургов: у него появился шанс сокру-

⁸⁵ Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. II. P. 12–13.

⁸⁶ См. Ibid. P. 11.

шить протестантизм в Германии и свести счеты с Голландией – взаимосвязанные задачи из-за необходимости овладеть коридором сквозь Рейнскую область для передвижения войск между Италией и Фландрией. Так, в 1620-е гг. снова вспыхнула европейская война, начатая союзником в Вене, но по инициативе Мадрида. В ходе Тридцатилетней войны любопытнейшим образом развернулась модель, созданная испанским оружием в двух военных циклах предыдущего века. Тогда как Карл V и Филипп II одерживали первоначальные победы на юге Европы, но терпели окончательные поражения на севере, войска Филиппа IV достигли быстрого успеха на севере только для того, чтобы испытать окончательный разгром на юге. Масштабы испанской мобилизации для этой третьей, и последней, попытки были гигантскими: в 1625 г. Филипп IV насчитывал под своей командой 300 тысяч человек⁸⁷. Богемские сословия были сокрушены в 1625 г. в битве у Белой горы, с помощью испанских субсидий и ветеранов, и дело протестантизма проиграло в чешских землях. Голландцев вынудил отступить Спинола после взятия Бреды. Шведская контратака в Германии, после победы над армиями Австрии и Лиги, была отражена испанскими *терциями* под началом кардинала-инфанта у Нордлингена. Однако именно эти победы заставили Францию вступить в войну, сместив военный баланс в сторону противников Испании: реакцией Парижа на Нордлинген в 1634 г. было объявление Ришелье войны в 1635 г. Результаты скоро стали очевидны. Голландцы вернули Бреду в 1637 г. Годом позже пал Брайзах (Breisach) – ключ к пути во Фландрию. В течение следующего года большая часть испанского флота была отправлена на дно у Даунса (Downs) – это гораздо более серьезный удар по военно-морским силам Габсбургов, чем судьба Армады. Наконец, в 1643 г. французская армия завершила эпоху превосходства *терций* в битве при Рокруа (Rocroi). Военное вмешательство Франции Бурбонов сильно отличалось от сражений, которые вели Валуа в предыдущем столетии; именно новый французский абсолютизм стал инструментом обрушения испанской имперской мощи в Европе. Ибо там, где в XVI в. Карл V и Филипп II извлекали пользу из внутренней слабости французского государства, употребляя провинциальные разногласия для вторжений в саму Францию, роли поменялись: повзрослевший французский абсолютизм мог использовать аристократические мятежи и региональный сепаратизм на Иберийском полуострове для вторжения в Испанию. В 1520-е гг. испанские войска вторгались в Прованс, в 1590-е гг. – в Лангедок, Бретань и Иль-де-Франс по приглашению местных диссидентов. В 1640-е гг. французские солдаты и корабли сражались бок о бок с антигабсбургскими мятежниками в Каталонии, Португалии и Неаполе: испанский абсолютизм был поставлен в безвыходное положение на своей собственной земле.

Долгое напряжение международного конфликта на Севере в конце концов почувствовалось и на самом Иберийском полуострове. В 1627 г. вновь пришлось объявить государственное банкротство; *веллон* был девальвирован на 50 % в 1628 г.; резкое падение трансатлантической торговли последовало в 1628–1631 гг.; «серебряный флот» не дошел по назначению в 1640 г.⁸⁸ Огромные военные расходы были причиной новых налогов на потребление, сборов с духовенства, конфискации процентов по государственным облигациям, захвата частных поставок золота, нараставшей продажи дворянству титулов и особенно сеньориальных полномочий. Однако все эти изобретения не смогли собрать сумму, необходимую для продолжения войны; поскольку ее цену по-прежнему платила одна Кастилия. Португалия практически не поставляла доходов Мадриду, ее вклад был ограничен задачей защиты португальских колоний. Фландрия была хронически дефицитной. Неаполь и Сицилия в предыдущий век поставляли скромный, но заметный доход в центральную казну. Теперь, однако, стоимость защиты Милана и поддержания *президио* в Тоскане пере-

⁸⁷ Parker G. The Army of Flanders and Spanish Road. P. 6.

⁸⁸ См. Elliott J.H. Imperial Spain. P.343.

крывала все доходы, несмотря на увеличенные налоги, продажу должностей и отчуждение земель: Италия продолжала поставлять для войны бесценную живую силу, но не оказывать финансовую помощь⁸⁹. Наварра, Арагон и Валенсия в лучшем случае соглашались на очень небольшие выплаты династии в чрезвычайных случаях. Каталония – богатейший регион Восточного королевства и самая экономная провинция из всех – ничего не платила, не разрешала тратить свои налоги и размещать свои войска за пределами собственных границ. Историческая цена неспособности габсбургского государства гармонизировать отношения с собственными владениями была очевидной уже к началу Тридцатилетней войны. Оливарес, понимавший, чем грозило отсутствие централизованной интеграции государственной системы и рискованное исключительное положение в ней Кастилии, предложил Филиппу IV далеко идущую реформу всей структуры в секретном меморандуме в 1624 г., где он предусматривал одновременное уравнивание налоговых сборов и политической ответственности между разными династическими патримониями, которые дали бы арагонскому, каталонскому и итальянскому дворянству постоянный доступ к высшим позициям в королевской службе в обмен на более равномерное распределение налогового бремени и принятие единой правовой системы по кастильскому образцу⁹⁰. Этот черновик унифицированного абсолютизма был слишком смелым, чтобы его можно было опубликовать, из страха как перед кастильской, так и некастильской реакцией. Однако Оливарес предложил также второй, ограниченный проект, «Союз по оружию», в котором предусмотрел общую резервную армию в 140 тысяч человек, собранную и экипированную всеми испанскими владениями для их общей обороны. Эта схема, официально обнародованная в 1626 г., была атакована со всех сторон силами традиционного партикуляризма. Каталония вообще отказалась иметь какое-либо отношение к этому проекту, и Союз остался только на бумаге.

Однако, по мере того как развивались военные действия и ухудшались позиции Испании, в Мадриде нарастало желание получить от Каталонии хоть какую-то помощь. Оливарес решил заставить Каталонию принять участие в войне, атаковав Францию через ее юго-восточную границу в 1639 г., сделав, таким образом, не желавшую сотрудничать провинцию де-факто фронтом испанских передовых операций. Этот опрометчивый замысел имел катастрофические последствия⁹¹. Замкнутое и ограниченное каталонское дворянство, страдавшее от отсутствия доходных должностей и промышлявшее разбоем в горах, было разъярено кастильскими командирами и потерями, понесенными в войне против французов. Низы духовенства разжигали страсти. Крестьянство, изнуренное реквизициями и постоем войск, восстало. Сельскохозяйственные рабочие и безработные устремились в города и подняли яростные мятежи в Барселоне и других центрах⁹². Каталонская революция 1640 г. сплывила взрывом недовольство всех общественных классов, за исключением небольшой группы магнатов. Власть Габсбургов над провинцией рухнула. Чтобы погасить народный радикализм и остановить кастильскую реконкисту, дворянство и патрициат пригласили французов оккупировать провинцию. На десятилетие Каталония превратилась в протекторат Фран-

⁸⁹ О финансовой истории итальянских владений см.: *Dominguez Ortiz A. Política y Hacienda de Felipe IV*. Madrid, 1960. P. 161–164. В целом роль итальянского компонента в Испанской империи в Европе наименее изучена, несмотря на очевидность того факта, что без заполнения этой лакуны невозможно создать полное описание имперской системы как целого.

⁹⁰ Лучший анализ этой схемы содержится в: *Elliott J. H. The Revolt of the Catalans*. P. 199–204. Домингес доказывает, что у Оливареса не было внутренней политики, поскольку он был сосредоточен на международных делах: *La Sociedad Espanola en el Siglo XVI. Vol. I*. Madrid, 1963. P. 15.

⁹¹ Оливарес понимал, на какой риск он шел: «Это будет потерей всего или спасением корабля. Дело касается религии, королевства, нации, всего, и если наша сила недостаточна, то пусть мы погибнем в тщетной попытке. Лучше погибнуть – это более справедливо, чем попасть под господство других, большинство из которых еретики, и я отношу к ним французов. Либо все будет потеряно, либо Кастилия станет во главе мира, как она уже является главой монархии Вашего Величества». Цит. по: *Elliott J. H. The Revolt of the Catalans*. P. 310.

⁹² *Elliott J. H. The Revolts of the Catalans*. P. 46–0468, 473–476, 486–487.

ции. Между тем на другой стороне полуострова Португалия начала собственное восстание через считанные месяцы после каталонского. Местная аристократия, обиженная уступкой Бразилии голландцам и уверенная в антикастильских чувствах масс, не испытала трудностей в подтверждении своей независимости, когда Оливарес совершил ошибку, сосредоточив королевские армии против сильно укрепленного востока, где побеждали франко-каталонские силы, а не на сравнительно демилитаризованном западе⁹³. В 1643 г. Оливарес пал; четыре года спустя Неаполь и Сицилия в свою очередь сбросили испанское господство. Европейский конфликт истощил казну и экономику Габсбургской империи на Юге и разрушил единство ее политического тела. В катаклизме 1640-х гг., когда Испания катилась к поражению в Тридцатилетней войне, за которым последовали банкротство, эпидемии, депопуляция и вторжения, неизбежным было и распадение лоскутного союза династических владений: сецессионистские восстания в Португалии, Каталонии и Неаполе стали приговором непрочности испанского абсолютизма. Он развивался слишком быстро и слишком рано благодаря своему заморскому богатству не завершив постройки своей метрополии.

В конце концов, начало Фронды сохранило Каталонию и Италию для Испании. Мазарини, отвлеченный домашними беспорядками, оставил первую после того, как неаполитанские бароны восстановили лояльность своему суверену во второй, когда сельская и городская беднота поднялась на социальное восстание, а французские войска за рубежом были уменьшены. Война, однако, продолжалась еще полтора десятилетия, даже после возвращения последней средиземноморской провинции – против голландцев, французов, англичан и португальцев. В 1650-е гг. случались неоднократные потери во Фландрии. Робкие попытки вернуть Португалию долгое время не могли увенчаться успехом. К тому времени класс кастильских идальго утратил интерес к этому делу; разочарование в войне широко распространилось среди испанцев. Финальные пограничные кампании велись в основном силами итальянских призывников, разбавленных ирландскими или немецкими наемниками⁹⁴. Их единственным результатом стало разрушение значительной части Эстремадуры и доведение правительственных финансов до низшей точки дефицита. Мир и независимость Португалии не признавались до 1688 г. Шестью годами позднее Франш-Конте перешел к Франции. Во время беспомощного правления Карла II центральная политическая власть вновь оказалась в руках класса грандов, который обеспечил себе прямое господство в государстве после аристократического путча 1677 г., когда Дон Хуан Хосе Австрийский – их кандидат в регенты – успешно привел арагонскую армию в Мадрид. На этот же период пришлась тяжелейшая экономическая депрессия столетия, со сворачиванием производства, коллапсом финансовой системы, возвращением к бартерному обмену, дефициту продовольствия и хлебным бунтам. В 1600–1700 гг. численность населения Испании сократилась с 8500 тысяч до 7 миллионов – сильнейший демографический упадок среди стран Запада. К концу столетия габсбургское государство агонизировало: его кончина, персонализированная в призрачном правителе Карле II Зачарованном (*El Hechizado*), ожидалась при всех заграничных дворах как сигнал к тому, что Испания станет европейским трофеем.

В действительности же война за испанское наследство обновила абсолютизм в Мадриде путем разрушения его неуправляемых пристроек. Нидерланды и Италия были потеряны. Арагон и Каталония, сплотившиеся вокруг австрийского кандидата, понесли поражение и были покорены в ходе гражданской войны, разыгравшейся внутри войны международной. Новая французская династия пришла к власти. Монархия Бурбонов достигла того, что не сумели Габсбурги. Гранды, многие из которых дезертировали в англо-австрийский лагерь в войне за наследство, были подчинены и исключены из центральной власти.

⁹³ *Dominguez Ortiz A. The Golden Century of Spain, 1556–1659. London, 1972. P. 103.*

⁹⁴ *Lynch J. Spain under the Habsburgs. Vol. II. P. 122–123; Dominguez Ortiz A. The Golden Century of Spain. P. 39–40.*

Импортировав более передовой опыт и технику французского абсолютизма, космополитичные гражданские служащие создали в XVIII в. унитарное централизованное государство⁹⁵. Система сословного представительства в Арагоне, Валенсии и Каталонии была уничтожена, а их партикуляризм подавлен. Было введено французское изобретение для единообразного управления провинциями – королевские *интенданты*. Армия была радикально реорганизована и профессионализирована на основе полупризывной системы и аристократического командования. Колониальная администрация была дисциплинирована и реформирована: освобожденные от европейских владений, Бурбоны показали, что Испания могла управлять своей американской империей компетентно и прибыльно. Фактически именно в течение этого столетия в противоположность полууниверсальной «испанской монархии» (*monarquía española*) окончательно появилась единая Испания (*España*)⁹⁶.

Тем не менее работа бюрократии Карла, рационализировавшая испанское государство, не смогла вдохнуть новую жизнь в испанское общество. Было слишком поздно для развития, сравнимого с французским или английским. Когда-то динамичная кастильская экономика пришла к своему концу при Филиппе IV. Несмотря на демографическое возрождение (численность населения увеличилась с 7 до 11 миллионов) и заметное расширение производства зерна в Испании, только 60 % населения все еще было занято в сельском хозяйстве, тогда как городские мануфактуры были практически исключены из общественной формации метрополии. После коллапса американских рудников в XVII в., в XVIII в. начался новый бум мексиканского серебра, однако в отсутствие крупной домашней промышленности, от него, вероятно, больше выиграла французская экспансия, чем испанская⁹⁷. Местный капитал был направлен, как и раньше, на приобретение общественной ренты или землю. Государственная администрация количественно не была очень большой, но страдала от раздутого честолюбия и охоты за должностями со стороны обедневшего дворянства. Обширные латифундии, обрабатываемые бригадами на юге страны, обеспечивали богатство застойной аристократии грандов, размещавшейся в провинциальных столицах⁹⁸. Начиная с середины века наблюдался приток высшей аристократии на министерские посты, когда «гражданская» и «военная» партии боролись за власть в Мадриде: время арагонского аристократа Аранды соответствует высшей точке прямого влияния магнатов в столице⁹⁹. Политический импульс нового порядка, однако, уже иссякал. К концу века двор Бурбонов находился в состоянии полного упадка, напоминавшего его предшественника, при слабом и коррумпированном правлении Годоя, последнего из фаворитов (*privado*). Границы возрождения XVIII в., эпилогом которого стал позорный коллапс династии в 1808 г., всегда были очевидны в административной структуре Испании Бурбонов. Даже после реформ Карла власть абсолютистского государства останавливалась на муниципальном уровне на огромных территориях страны. До самого вторжения Наполеона больше половины городов Испании находились под юрисдикцией сеньора или духовенства, а не монархии. Режим *сеньории*, средневековый реликт, берущий начало в XII–XIII вв., имел для контролировавших эту юрисдикцию аристократов скорее экономическое, чем политическое, значение; однако он предоставлял им не только

⁹⁵ См.: Kamen H. The War of Succession in Spain, 1700–1715. London, 1969. P. 84–117. Главным архитектором новой администрации был Бергейк, фламандец из Брюсселя (P. 237–240).

⁹⁶ Именно в эту эпоху были приняты национальный флаг и гимн. Характерно суждение Домингеса: «Меньше империи, больше Кастилии. Испания, творение нашего XVIII в., возникла из туманности и приобрела твердые и осязаемые формы... Ко времени Войны за независимость пластичный и символический образ нации, какой мы ее знаем сегодня, был в основном завершен». Domínguez Ortiz A. La Sociedad Española en el Siglo XVIII. Madrid, 1955. P. 41, 43. Это лучшая работа по периоду.

⁹⁷ Yllar P. Oro y Moneda. P. 348–361, 315–317.

⁹⁸ Запоминающийся портрет этого класса содержится в: Carr R. Spain // The European Nobility in the Eighteenth Century / A. Goodwin (ed.). P. 43–59.

⁹⁹ Domínguez Ortiz A. La Sociedad Española en el Siglo XVIII. P. 93, 178.

прибыли, но и местную судебную и административную власть¹⁰⁰. Это «сочетание суверенитета и собственности» было выразительным пережитком принципа территориальной власти в эпоху абсолютизма. *Старый режим* сохранял свои феодальные корни в Испании вплоть до своей гибели.

¹⁰⁰ Домингес предоставляет богатый обзор модели *сеньории* в своей главе: El Origo del Regimen Senorial// La Sociedad Espanola en el Siglo XVIII. P. 300–342, где он описывает ее цитированной выше фразой.

4. Франция

Эволюция Франции разительно отличалась от испанской модели. Здешний абсолютизм не обладал богатой заморской империей, на раннем этапе обеспечившей преимущество Испании. Вместе с тем ему была незнакома и перманентная структурная проблема сплавления воедино несопоставимых королевств с резко отличавшимся политическим и культурным наследием. Монархия Капетингов concentрическими кругами на протяжении Средних веков распространяла свой сюзеренитет со своей первоначальной базы в Иль-де-Франс, пока не охватила территорию от Фландрии до Средиземноморья. Ей не приходилось соревноваться с соперниками такого же феодального ранга в пределах Франции: в галльских землях было лишь одно королевство, за исключением маленького и полуиберийского государства Наварра на далеких склонах Пиренеев. Отдаленные графства и герцогства Франции всегда номинально зависели от центральной династии, даже в тех случаях, когда вассалы были изначально более могущественны, чем их король-сюзерен, что создавало правовую иерархию, способствовавшую позднейшей политической интеграции. Социальные и лингвистические различия, разделявшие Юг и Север, хотя и были постоянными и выраженными, никогда не были так велики, как те, что противопоставляли Запад Востоку в Испании. Отдельная правовая система и язык, существовавшие на Юге, не совпали, к счастью для монархии, с локализацией главного военно-политического вызова, брошенного централизации Франции в конце Средневековья: Бургундский дом, главный соперник Капетингской династии, был северным герцогством. Южный партикуляризм, тем не менее, оставался в раннее новое время постоянной латентной угрозой, принимая новые личины при каждом кризисе. Реальный политический контроль французской монархии над территориями никогда не был равномерным: он падал на окраинах страны, уменьшался в недавно присоединенных и наиболее удаленных от Парижа провинциях. В то же время исключительные демографические размеры Франции сами по себе представляли гигантское препятствие для административной унификации: с 20 миллионов жителей она была вдвое более населена, чем Испания в XVI в. Если унитарному абсолютизму в Испании мешала жесткость и очевидность внутренних барьеров, то в границах французского государства им соответствовало изобилие и разнообразие региональной жизни. Поэтому за капетингской консолидацией средневековой Франции не последовало распространения единого государственного устройства. Наоборот, история становления французского абсолютизма была историей «конвульсивного» продвижения к централизованному монархическому государству, периодически прерывавшегося рецидивами провинциальной дезинтеграции и анархии, за которыми наступали периоды интенсивной реакции в форме усиления королевской власти, пока процесс не увенчался установлением жесткой и стабильной структуры. Три великими кризисами политического порядка были, конечно, Столетняя война в XV в., религиозные войны в XVI в. и Фронда в XVII в. Переход от средневековой к абсолютной монархии в ходе каждого из этих кризисов сначала останавливался, а затем ускорялся, приводя в конце концов к установлению культа королевской власти в эпоху Людовика XIV, равного которому не было в Западной Европе.

Медленная concentрическая централизация капетингских королей, упомянутая выше, неожиданно закончилась с пресечением династии в середине XIV в., что стало сигналом к началу Столетней войны. Начало жестоких свар между французскими магнатами при слабых правителях династии Валуа привели в конце концов к объединенной англо-бургундской атаке на французскую монархию в начале XV в., которая подорвала единство королевства. В апогее английских и бургундских успехов в 1420-е гг. практически все традиционные владения королевского дома в Северной Франции были под вражеским контролем, в то время как Карл VII вынужден был бежать и укрываться на Юге. Общая история постепенного

восстановления французской монархии и вытеснения английских армий хорошо известна. Для нас важно, что главным наследием суровых испытаний Столетней войны стало фискальное и военное освобождение монархии от ограничений средневековой политической системы. Война была выиграна только лишь после отказа от сеньориальной системы рыцарской службы, показавшей свою катастрофическую неэффективность в сражениях против английских лучников, и благодаря созданию регулярной оплачиваемой армии, артиллерия которой стала решающим оружием победы. Чтобы набрать такую армию, французская аристократия позволила монархии собрать первый общенациональный налог – *королевскую талью* 1439 г., которая стала в 1440-е г. регулярной *солдатской тальей* (*taille des gens d'armes*)¹⁰¹. Аристократия, духовенство и некоторые города были освобождены от ее уплаты, и в течение следующего века право не платить талью стало для аристократии наследственным. Таким образом, к концу XV в. монархия достаточно укрепилась, чтобы приступить к созданию регулярной армии в виде *ордонансовых рот*, под командой аристократов, и ввести прямые налоги без какого бы то ни было контроля представительных органов.

В то же время Карл VII не пытался укрепить власть династии в северных провинциях Франции, когда они были успешно отвоеваны; напротив, он поддержал региональные сословные ассамблеи и передал местным институтам финансовую и судебную власть. Точно так же, как капетингские правители сопровождали расширение монархического контроля уступкой княжеских уделов, первые короли династии Валуа комбинировали восстановление единства королевства с передачей власти в провинциях укрепившейся аристократии. Причина была одной и той же в обоих случаях: очевидная административная трудность управления страной таких размеров, как Франция, с помощью доступных династии инструментов. Силовой и фискальный аппараты центрального государства были по-прежнему очень малы: *Ордонансовые роты* Карла VII никогда не насчитывали более 12 тысяч человек – совершенно недостаточная мощь для эффективного контроля и подавления населения численностью 15 миллионов¹⁰². Аристократия сохраняла автономию местной власти благодаря собственным мечам, от которых зависела стабильность всей общественной структуры. Появление скромной королевской армии даже увеличило экономические привилегии благородного сословия, поскольку институционализация тальи обеспечила аристократии полный фискальный иммунитет, которого у нее ранее не было. Созыв Карлом VII Генеральных штатов, института, который прекратил свое существование столетия назад, был, таким образом, вызван именно необходимостью создания национального форума, на котором он мог бы заставить различные провинциальные сословия и города принимать налоги, ратифицировать договоры и предоставлять советы о внешней политике; однако этот орган редко полностью соглашался с его требованиями. Столетняя война, таким образом, завещала французской монархии постоянную армию и налоги, но не гражданскую администрацию в масштабах государства. Английские интервенты были изгнаны с французской земли; бургундские амбиции остались. Людовик XI, унаследовавший трон в 1461 г., обращался с внешней и внутренней оппозицией власти Валуа с мрачной решительностью. Неуклонное восстановление провинциальных уделов, таких как Анжу, систематическая смена муниципальных правительств в главных городах, произвольное взимание более тяжелых налогов и подавление аристократических интриг весьма увеличили королевскую власть и казну во Франции. Более того, Людовик XI укрепил весь восточный фланг французской монархии, обеспечив крушение своего самого опасного соперника и врага, Бургундской династии. Спровоцировав швейцарские кантоны на войну против соседнего герцогства, он профинансировал первое большое поражение феодальной кавалерии от пехоты: с разгромом Карла Лысого швей-

¹⁰¹ Lewis P. S. Later Mediaeval France: The Polity. London, 1968. P. 102–104.

¹⁰² См. об этом: Major O. R. Representative Institutions in Renaissance France, 1421–1559. Madison, 1960. P. 9.

царскими копейщиками при Нанси в 1477 г. Бургундское государство пало, и Людовик XI аннексировал большую часть герцогства. В течение следующих двух десятилетий Карл VIII и Людовик XII, желая удержать за Францией Бретань, последнее большое независимое княжество, женились на его наследницах. Французское королевство теперь впервые объединило все вассальные провинции средневековой эпохи под властью одного суверена. Уничтожение самых больших домов Средневековья и реинтеграция их доменов с землями монархии подчеркнуло очевидное господство самой династии Валуа.

На деле, однако, «новая монархия», созданная Людовиком XI, ни в коей мере не была централизованным или интегрированным государством. Франция была разделена на 12 губерний, управление которыми было доверено принцам королевской крови или крупнейшим аристократам. Они легально пользовались широким спектром королевских прав вплоть до конца века и фактически могли действовать как автономные властители и в следующем¹⁰³. Более того, теперь появились еще и местные *парламенты*, провинциальные суды, созданные монархией и получившие верховную юридическую власть, важность и количество которых постепенно росло: между восшествием на престол Карла VII и смертью Людовика XII новые *парламенты* были созданы в Тулузе, Гренобле, Бордо, Дижоне, Руане и Эксе. Городские свободы также еще не были значительно урезаны, хотя положение патрицианской олигархии в них усилилось за счет гильдий и мелких хозяев. Важнейшей причиной этих ограничений центральной власти оставались непреодоленные организационные проблемы создания эффективного аппарата феодального господства в масштабах всей страны, в условиях экономики без общего рынка, без модернизированной транспортной системы, в которой еще не закончилось разложение феодальных отношений в деревне. Социальная база для вертикальной политической централизации была еще не готова, несмотря на определенные успехи монархии. Именно в этом контексте Генеральные штаты были вызваны ко второй жизни после Столетней войны, не для противопоставления, а в связи с возрождением монархии. Во Франции, как и в других странах, первичным импульсом к созыву сословий была потребность династии в поддержке ее фискальной и внешней политики со стороны подданных королевства¹⁰⁴. Однако во Франции консолидация Генеральных штатов в качестве постоянного национального института была заблокирована тем же самым разнообразием, которое заставило монархию предпринять передачу власти местным органам в самый час своей победы. Дело не в том, что три сословия были особенно социально разделены в моменты встреч: среднее дворянство (*moyenne noblesse*) доминировало без особых усилий. Однако региональные ассамблеи, избиравшие своих представителей в Генеральные штаты, отказывались давать им мандат на голосование за общенациональные налоги; поскольку аристократия была исключена из существующего обложения, она не чувствовала особой необходимости в созыве Генеральных штатов¹⁰⁵. В результате французские короли, не получавшие от национального представительства финансового вклада, на который надеялись, постепенно вовсе перестали его созывать. Таким образом, укрепление сеньориальной местной власти в регионах, а не централизующее давление монархии препятствовало появлению в ренессансной Франции национального парламента. В краткосрочной перспективе это вносило лепту в подрыв королевского авторитета, а в будущем, однако, облегчало задачу абсолютизма.

¹⁰³ Major J. R. Representative Institutions in Renaissance France. R 6.

¹⁰⁴ Проницательное наблюдение о том, что Генеральные штаты во Франции и повсеместно способствовали, а не противостояли распространению королевской власти в период Возрождения, сделал в своем превосходном исследовании Мейджор: Major J. R. Representative Institutions in Renaissance France. P. 16–20. В действительности, Мейджор поддерживает этот тезис несколько односторонне; безусловно, в течение XVI в. становился все менее верным, даже если когда-то и был верен, тезис, будто монархи «не боялись созывать ассамблеи» (P. 16). Тем не менее это один из наиболее интересных анализов темы из существующих на разных языках.

¹⁰⁵ См. схожие мнения Льюиса и Мейджора: Lewis P. S. The Failure if the French Mediaeval Estates // Past and Present. N 23. 1962. November. P. 3–24 и Major J. R. The Estates-General of 1560. Princeton, 1951. P. 75, 119–120.

В первой половине XVI в. Франциск I и Генрих II руководили процветающим и растущим королевством. Активность представительных органов постепенно снижалась: Генеральные штаты почти не собирались, представители городов не созывались после 1517 г., а внешняя политика становилась исключительным делом королей. Юристы – *maitres de requetes* – постепенно расширяли полномочия монархии, а *парламенты* дрожали от страха на специальных сессиях оглашения королевских указов (*lits de justice*) в присутствии монарха. Контроль над назначениями в церковной иерархии был получен благодаря Болонскому конкордату с Папой. Однако ни Франциск I, ни Генрих II еще не походили на самодержавных правителей: оба они часто совещались с региональными ассамблеями и тщательно соблюдали традиционные привилегии знати.

Экономический иммунитет Церкви не был нарушен со сменой патронажа над ней (в отличие от ситуации в Испании, где монархия обложила духовенство большим налогом). Королевские эдикты в принципе все еще требовали регистрации *парламентом*, чтобы стать законом. Доходы казны удвоились в 1517–1540 гг., однако уровень налогообложения к концу правления Франциска I не был заметно выше, чему Людовика XI шестьдесятю годами ранее, хотя цены и доходы за это время весьма выросли¹⁰⁶: таким образом, за это время прямое налоговое бремя по отношению к национальному богатству на самом деле сократилось. С другой стороны, выпуск государственных облигаций для *рантье*, начиная с 1522 г., помогал поддерживать государственную казну в порядке. Престиж династии внутри страны поддерживался непрерывными войнами в Италии, в которую правители из династии Валуа вовлекли свою знать: они стали постоянным выходом для непреходящей воинственности дворян. Продолжительные попытки Франции получить контроль над Италией, начатые Карлом VIII в 1494 г. и завершенные договором в Като-Камбрези в 1559 г., оказались безуспешными. Испанская монархия, более развитая в военном и политическом отношениях и обладающая стратегическими базами в Северной Европе и военно-морским преимуществом союзников-генуэзцев, победила своего французского соперника в борьбе за контроль над заальпийским полуостровом. Победа в этом соревновании осталась за тем государством, абсолютизм в котором развился раньше. В конечном итоге, однако, поражение в первой иностранной авантюре помогло французскому абсолютизму, запертому на его собственной территории, обеспечить себе более прочные и компактные основания. С другой стороны, оно означало немедленное прекращение итальянских войн в сочетании с кризисом наследования, показавшего, насколько слабо монархия Валуа была еще укоренена в стране. Смерть Генриха II низвергла Францию в сорокалетнюю междоусобную борьбу.

Причиной гражданских войн, развязанных после Като-Камбрези, были, конечно, религиозные конфликты Реформации. Но они предоставили что-то вроде рентгеновского снимка государства конца XVI в., раскрыв множественные трения и противоречия французской общественной системы эпохи Возрождения. Борьба между гугенотами и Святой Лигой за контроль над монархией, вакантной после смерти Генриха II и регентства Екатерины Медичи, служила ареной для практически всех типов политических конфликтов эпохи перехода к абсолютизму. Религиозные войны вели от начала до конца три соперничавших рода магнатов – Гизы, Монморенси и Бурбоны, каждый из которых контролировал собственные доменные территории, широкую клиентелу, имел влияние в государственном аппарате, лояльные войска и международные связи. Семья Гизов была хозяйкой северо-востока от Лотарингии до Бургундии; линия Монморенси-Шатильонов располагалась на наследственных землях, протянувшихся через весь центр страны; бастионы Бурбонов лежали на юго-западе. Межфеодалная борьба между этими благородными домами обострилась в связи с тяжелым положением обедневших сельских дворян по всей Франции, ранее приученных к

¹⁰⁶ См. Major J. R. Representative Institutions in Renaissance France. P. 126–127.

доходам от грабительских набегов на Италию и теперь страдавших от роста цен; эта страта предоставляла военные кадры, готовые к продолжительной гражданской войне, независимо от разделявших ее религиозных предпочтений. Более того, когда борьба началась, города тоже разделились на два лагеря: большинство южных городов поддерживали гугенотов, тогда как города внутренних регионов севера практически без исключения стали оплотом Лиги. Существует точка зрения, будто различная торговая ориентация (на заморский или внутренний рынок) повлияла на это разделение¹⁰⁷. Однако более вероятным представляется, что общая географическая структура гугенотства отражала традиционный региональный сепаратизм Юга, который всегда лежал на самом большом расстоянии от домашних владений Капетингов в Иль-де-Франс и в котором дольше всего власть сохраняли собственные государи. Сначала протестантизм проникал во Францию из Швейцарии по главным речным системам Роны, Луары и Рейна¹⁰⁸, обеспечивая равномерное региональное распространение реформированной веры. Но когда терпение властей иссякло, она сконцентрировалась в Дофине, Лангедоке, Гиени, Пуату, Сентонже, Беарне и Гаскони – горных или прибрежных регионах за Луарой, многие из которых были суровы и бедны и общей характеристикой которых была не столько коммерческая энергичность, сколько манориальный партикуляризм. Гугенотство всегда собирало под свои знамена ремесленников и бюргеров в городах, однако присвоение десятины кальвинистской верхушкой делало привлекательность новой веры в глазах крестьян весьма ограниченной. Лидеры гугенотов рекрутировались по преимуществу из землевладельческого класса, который в 1560-е гг., вероятно, наполовину состояли из протестантов, тогда как в населении в целом их доля никогда не превышала 10–20 %¹⁰⁹. Религия отступила на юг в объятия аристократического диссидентства. Главное напряжение конфессионального конфликта может быть понято как разрыв тонкой материи французского единства вдоль ее наследственно слабейшего шва.

Однако развернувшаяся борьба освободила более глубокие социальные конфликты, чем феодальный сепаратизм. Когда Юг оказался в руках Конде и протестантских армий, удвоенный вес королевского налогообложения лег на осажденные католические города Севера. Городская нищета, ставшая результатом такого развития в 1580-е гг., спровоцировала радикализацию Святой Лиги в городах, достигшую пика после убийства Генрихом III Гиза. Пока герцоги из клана Гизов – Майенн, Омаль, Эльбеф, Меркёр – отделяли Лотарингию, Бретань, Нормандию и Бургундию во имя католичества, а испанские армии вторгались из Фландрии и Каталонии для помощи Лиге, в северных городах взорвались муниципальные революции. Власть в Париже была взята диктаторскими комитетами недовольных юристов и церковников, поддержанных голодающими плебейскими массами и фанатичной фалангой монахов и проповедников¹¹⁰. Орлеан, Бурж, Дижон, Лион последовали примеру.

¹⁰⁷ Этот тезис развивается в интересном эссе Брайна Пирса: *Pearce B. The Huguenots and the Holy League: Class, Politics and Religion in France in the Second Half of the Sixteenth Century* (unpublished), в котором он предполагает, что северные города были, как следствие, более озабочены консолидацией национального единства Франции. Однако многие из главных портов Юга и Запада также остались католическими: Бордо, Нант и Марсель поддержали Лигу. Марсель вследствие такой испанской политики потерял традиционную торговлю с Левантом: *Livet G. Les Guerres de Religion*. Paris, 1966. P. 105–106.

¹⁰⁸ См. *Major J. R. Representative Institutions in Renaissance France*. P. 126–127.

¹⁰⁹ *Elliott J. H. Europe Divided, 1559–1598*. London, 1968. P. 96. Эта книга включает, между прочим, хороший нарратив этого периода французской истории, вписанный в международную политическую борьбу той эпохи.

¹¹⁰ О политической социологии муниципального лидерства в Лиге в Париже в высшей точке религиозных войн см.: *Salmon J. H. The Paris Sixteen, 1584–1594: The Social Analysis of a Revolutionary Movement* // *Journal of Modern History*. 1972. December. Vol. 44. N 4. P. 540–576. Сэлмон показывает, насколько влиятельными в Совете шестнадцати были средний и нижний слой юристов, и подчеркивает их манипуляцию плебейскими массами, совмещенную с предоставлением некоторого экономического облегчения, в период их диктатуры. Краткий сравнительный анализ присутствует в *Koenigsberger H. G. The Organization of Revolutionary Parties in France and the Netherlands during the Sixteenth Century* // *Journal of Modern History*. 1955. December. Vol. 27. P. 335–351. Тем не менее предстоит еще много работы по изучению Лиги, одного из самых

Как только протестант Генрих Наваррский стал законным наследником монархии, идеология этих городских восстаний стала меняться в сторону республиканизма. В то же самое время ужасающее разорение сельской местности постоянными военными кампаниями тех десятилетий толкнуло крестьян юга и центра страны – Лимузена, Перигора, Керси, Пуату и Сентонжа – к угрожающе нерелигиозному восстанию в 1590-е гг. Именно эта двойная радикализация в городах и сельской местности в конце концов вновь объединила правящий класс: аристократия начала смыкать ряды, как только появилась реальная опасность восстания снизу. Генрих IV принял католичество, сплотил аристократических руководителей Лиги, изолировал коммуны и подавил крестьянские мятежи. Религиозные войны закончились восстановлением королевского государства.

Французский абсолютизм теперь сравнительно быстро достиг совершеннолетия, хотя ему предстояло взять еще одно препятствие, прежде чем окончательно утвердиться. Великими архитекторами его администрации были, конечно, Сюлли, Ришелье и Кольбер. Размеры и разнообразие страны оставались еще непокоренными, когда они начинали свою работу. Принцы королевской крови оставались ревнивыми соперниками монарха, часто обладая наследственным статусом губернаторов. Провинциальные *парламенты*, состоявшие из сельского дворянства и юристов, представляли бастионы традиционного партикуляризма. Торговая буржуазия росла в Париже и других городах и контролировала муниципальные власти. Влияние народных масс выросло в ходе гражданских войн предыдущего столетия, когда обе стороны в разные периоды обращались к ним за поддержкой, а память о народных восстаниях сохранялась¹¹¹. Французское абсолютистское государство, появившееся в великом столетии (*grandsiede*) должен был справиться с этим комплексом проблем. Генрих IV впервые утвердил королевское присутствие в Париже, перестроив город и превратив его в постоянную столицу королевства. Гражданское примирение сопровождалось заботой государства о восстановлении сельского хозяйства и помощью экспортной торговле. Престиж монархии в народе был восстановлен личной привлекательностью самого основателя новой династии Бурбонов. Нантский эдикт и его дополнительные статьи успокоили протестантов, уступив им ограниченную региональную автономию. Генеральные штаты не были созваны, несмотря на обещание сделать это, данное во время гражданской войны. Внешний мир поддерживался, а вместе с ним и административная экономия. Сюлли, канцлер-гугенот, удвоил доходы государства, главным образом перейдя к косвенным налогам, рационализировав откупа и сократив траты. Важнейшим институциональным достижением правления было введение *полетты* в 1604 г.: продажа должностей в государственном аппарате, существовавшая уже более века, была институционализирована изобретением Полетта, позволившим им стать наследственными в обмен на выплату небольшого ежегодного процента от ее продажной стоимости-мера, направленная не только на увеличение доходов монархии, но и на изоляцию бюрократии от влияния магнатов. При экономном режиме Сюлли продажа офисов составляла только около 8 % от доходов бюджета¹¹². Однако, начиная с периода несовершеннолетия Людовика XIII и далее, эта пропорция быстро менялась. Рецидив дворянской фракционности и религиозного недовольства, отмеченный последней и бесплодной сессией Генеральных штатов (1614–1615) перед Французской революцией и первым агрессивным вмешательством парижского парламента в работу королевского правительства, привел к кратковременному доминированию герцога де Люина (Duc de Luynes). Государственные расходы резко выросли из-за необходимости откупаться от капризных магнатов

сложных и загадочных феноменов столетия; движение, которое изобрело баррикады в городах, ждет своего марксистского историка.

¹¹¹ На этот фактор обратил внимание Сэлмон: Salmon J. H. Venality of Office and Popular Sedition in the 17th Century France// Past and Present. 1967. July. P. 41–43.

¹¹² Prestwick M. From Henry III to Louis XIV//The Age of Expansion/H. Trevor-Roper (ed.). London, 1968. P. 199.

и возобновления войны против гугенотов на юге. С этого времени бюрократия и судебная власть породили самый большой объем коррупции в Европе. Франция стала классической страной продажи должностей, в то время как постоянно растущее количество sinecur создавалось монархией в целях увеличения доходов. К 1620–1624 гг. их продажа приносила королевской казне около 38 % дохода¹¹³. Более того, откупа теперь регулярно продавались крупным финансистам, которые изымали до % налогов на их пути в государственную казну. Цена внешней и внутренней политики в период Тридцатилетней войны возросла так резко, что монархия вынуждена была постоянно обращаться к насильственным займам под высокие проценты у синдикатов своих собственных откупщиков, которые в то же самое время были чиновниками (*officiers*) купившими должности в финансовой части государственного аппарата¹¹⁴. Этот порочный круг финансовых импровизаций неизбежно доводил коррупцию до крайности. Размножение коррупционных должностей, на которые теперь назначалось новое «дворянство мантии», препятствовало любому твердому династическому контролю над важнейшими институтами общественного права и финансов, ослабляя бюрократическую власть в центре и на местах.

И именно в ту эпоху Ришелье и его преемники начали строительство рационализированной бюрократической машины, способной к прямому королевскому контролю и вмешательству на всем пространстве Франции. Фактический правитель страны с 1624 г., кардинал твердо довел до конца ликвидацию оставшейся крепости гугенотов на юго-западе, осадив и взяв Ла-Рошель; разрушил несколько аристократических заговоров, казнив организаторов; отменил высшие средневековые военные титулы; разрушил замки аристократов и запретил дуэли; подавил сословия, где это позволило местное сопротивление (Нормандия).

И сверх того, Ришелье создал систему *интендантов*. Интенданты юстиции, полиции и финансов были чиновниками, направленными с широкими полномочиями в провинции. Сначала это были временные миссии *ad hoc*, но позднее они превратились в постоянных комиссаров центрального правительства по всей Франции. Назначенные напрямую монархом, они могли быть отозваны с поста, а эти должности не продавались и не покупались: обычно рекрутируемые из бывших «челобитчиков» (*maitres des requites*), принадлежавших к мелкому и среднему дворянству XVII в., они представляли новую силу абсолютистского государства в самых отдаленных уголках королевства. Чрезвычайно непопулярные в среде *чиновников* (*officier*), на чьи местные прерогативы они покушались, они сперва использовались с осторожностью и сосуществовали с традиционным управлением в провинциях. Однако Ришелье поломал квазинаследственный характер регионального управления, долгое время бывший добычей высшей аристократии, так что к концу его правления только четверть этих позиций была занята теми же людьми, что и до его прихода к власти. Таким образом, на протяжении этого периода обе группы – чиновников и комиссаров – развивались одновременно и в противоречии одна другой, однако внутри общей эволюции государственных структур. В то время как роль интендантов постепенно становилась все более важной и авторитетной, магистраты местных парламентов, защитники легализма и партикуляризма, периодически ограничивали инициативы королевского правительства.

Составная форма французской монархии привела, таким образом, в теории и на практике, к чрезвычайно изощренной сложности. Коссман описал ее контуры в сознании правящего класса того времени в ярком пассаже: «Современники чувствовали, что абсолютизм никоим образом не исключает тех противоречий, которые казались им неотъемлемой чертой государства, и не меняет ни одного их представления об управлении. Для них госу-

¹¹³ См. Ibid. P. 199.

¹¹⁴ Хорошее обсуждение этого феномена содержится в: *Lublinskaya A. D. French Absolutism: The Crusial Phase, 1620–1629. Cambridge, 1968. P. 234–243.* О масштабах изъятий из *талли*, совершавшихся откупщиками, см. P. 308 (13 из 19 миллионов ливров в середине 1620-х гг.).

дарство было чем-то вроде церкви барокко, в которой большое число разных концепций переплелось, сразилось и, наконец, слилось в единую величественную систему. Архитекторы недавно открыли овал, и пространство ожило в их изобретательном использовании: везде великолепие овальных форм, мерцающих из углов, проецировало на конструкцию как целое мягкую энергию и раскачивающийся нечеткий ритм, характерный для нового стиля»¹¹⁵. Эти «эстетические» принципы французского абсолютизма, тем не менее, соответствовали его функциональным целям. Соотношение между налогами и повинностями выражалось напряжением между «централизованной» и «местной» феодальной рентой. Это «экономическое» удвоение было в каком-то смысле воспроизведено в «политических» структурах французского абсолютизма. Именно сложность архитектуры государства позволяла происходить процессу медленного, но неуклонного объединения благородного класса, который постепенно приспосабливался к новой централизованной форме, подконтрольной *интендантам*, продолжая занимать прочные позиции в системе *чиновников (officier)* и местной власти в провинциальных парламентах. Более того, она одновременно решала сложную задачу интеграции новорожденной французской буржуазии в структуру феодального государства. Покупка должностей представляла собой такую прибыльную инвестицию, что капитал постоянно оттекал от мануфактур или торговых предприятий на ростовщическую игру с абсолютистским государством. Синекуры и феодалы, откупа и займы, привилегии и долговые обязательства отвлекали богатства буржуазии от производственной деятельности. Приобретение благородных титулов и фискального иммунитета считалось нормальной предпринимательской целью для нуворишей (*roturiers*). Социальным последствием было возникновение буржуазии, которая во все большей степени ассимилировалась с аристократией через систему привилегий и должностей. Государство, в свою очередь, спонсировало королевские мануфактуры и общественные торговые компании, которые, от Сюлли до Кольбера, представляли собой отдушины для делового класса¹¹⁶. Как следствие – политическая эволюция французской буржуазии на 150 лет зашла в тупик.

Бремя содержания всего этого аппарата легло на бедных. Реорганизованное феодальное государство жирело немилосердно за счет сельских и городских масс. Размах, с которым местная коммутация ренты и рост монетизированного сельского хозяйства компенсировались централизованным изъятием избытков у крестьянства, виден – в отношении Франции – с совершенной ясностью. В 1610 г. налоговые агенты государства собрали 17 миллионов ливров талли. К 1644 г. сборы этого налога достигли 44 миллиона ливров. Общее налогообложение на деле увеличилось вчетверо за десятилетие после 1630 г.¹¹⁷ Причиной этого резкого роста фискального бремени было, конечно, дипломатическое и военное вмешательство Ришелье в Тридцатилетнюю войну. Начав с субвенций Швеции, затем используя германских наемников, он закончил большими французскими армиями на поле боя. Международный эффект был ослепительным. Франция решила судьбу Германии и разрушила влияние Испании. Вестфальский мир, через четыре года после исторической французской победы при Рокруа, расширил границы французской монархии от Мааса до Рейна. Новые структуры французского абсолютизма прошли, таким образом, крещение в огне европейской войны. Успех Франции в борьбе против Испании совпал с внутренней консолидацией двойной бюрократической структуры, которая составляла раннее государство Бурбонов. Чрезвычайные обстоятельства конфликта облегчили установление интендантств в завоеван-

¹¹⁵ «Или чтобы поменять метафору: если королевская власть была сверкающим солнцем, была и другая власть, которая отражала, концентрировала и смягчала его свет, тень, включавшая этот источник энергии, на который человеческий глаз не может смотреть, чтобы не ослепнуть. Мы говорим о парламентах, и прежде всего о парламенте Парижа». *Kossmann E. La Fronde. Leyden, 1954. P. 23.*

¹¹⁶ См. *Porshnev B. F. Les Soulevements Populaires en France de 1623 a 1648. P. 547–560.*

¹¹⁷ *Prestwich B. F. From Henri III to Lois XIV. P. 203; Mousnier R. Peasant Uprising. London, 1971. P. 307.*

ных или угрожаемых зонах: его огромная финансовая стоимость в то же время повлекла за собой беспрецедентную продажу должностей и принесла огромные состояния банковским синдикатам. Реальную цену войны несли на себе бедняки, среди которых она спровоцировала социальный хаос. Фискальное давление абсолютизма военного времени было причиной народной поддержки отчаянных восстаний городских и сельских масс на протяжении этих десятилетий. Городские мятежи произошли в Дижоне, Эксе и Пуатье в 1630 г.; жакерии – в сельской местности в Ангумуа, Сентонже, Пуату, Перигоре и Гиени в 1636–1637 гг.; крупное плебейское и крестьянское восстание – в Нормандии в 1639 г. К большим региональным мятежам надо добавить рассыпанные по стране мелкие вспышки недовольства против сборщиков налогов, часто происходившие при покровительстве местного дворянства. Королевские войска регулярно применялись для репрессий внутри страны, в то время как международный конфликт полыхал за пределами Франции.

Фронду можно рассматривать в определенном смысле как «гребень» этой длинной волны народных восстаний¹¹⁸, во время которой на короткий период часть высшей аристократии, держателей должностей и городской буржуазии использовали массовое недовольство для достижения собственных целей в борьбе с абсолютистским государством. Мазарини, сменивший Ришелье в 1642 г., умело направлял французскую внешнюю политику в конце Тридцатилетней войны, добившись присоединения Эльзаса. После Вестфальского мира, однако, Мазарини спровоцировал кризис, ставший известным как Фронда, продолжив войну с Испанией на Средиземноморском театре военных действий, где он, итальянец, нацелился на аннексию Неаполя и Каталонии. Налоговые изъятия и финансовые махинации для поддержания военных усилий за границей совпали с неурожаем 1647, 1649 и 1651 гг. Голод и ярость народных масс соединилась с восстанием измученных войной чиновников (*officiers*), возглавленных парижским парламентом, против системы интендантов, раздражением рантье из-за девальвации правительственных ценных бумаг; ревностью могущественных пэров королевства к итальянскому авантюристу, манипулировавшему несовершеннолетним королем. Развязкой стала беспорядочная и ожесточенная схватка, в которой страна, казалось, снова распалась на провинции, отделившиеся от Парижа, повсюду бродили мародерствующие частные армии, города создавали мятежные муниципальные диктатуры, и сложные интриги разделяли и вновь объединяли принцев, соперничавших за контроль над королевским двором. Провинциальные губернаторы искали случая свести счеты с местными парламентами, тогда как муниципальные власти получили возможность атаковать региональные магистратуры¹¹⁹. Фронда, таким образом, воспроизвела многие структурные элементы религиозных войн. На этот раз самое радикальное городское восстание совпало с выступлением одной из традиционно самых недовольных сельских местностей: мятежники в Бордо (*Orme*) и на самом юго-западе до конца противостояли армиям Мазарини. Однако захват власти в Бордо и Париже народом случился слишком поздно для того, чтобы повлиять на результат переплетавшихся конфликтов Фронды; местные гугеноты на Юге в целом остались нейтральными; восставшие не смогли выдвинуть связной политической программы, идущей дальше их инстинктивной враждебности к местной буржуазии Бордо¹²⁰. К 1653 г. Мазарини и Тюренн затоптали последние очаги восстания. Административная централизация и классовая реорганизация в рамках смешанных структур французской монархии в XVII в. доказали свою эффективность. Хотя недовольство масс было, вероятно, более сильным, Фронда была менее опасна для монархии, чем религиозные войны, потому что имущий класс уже фактически объединился. Несмотря на все про-

¹¹⁸ Эта точка зрения Поршнева представлена в *Les Soulevements Populaires en France*.

¹¹⁹ Об этом аспекте см.: *Kossmann E. H. La Fronde*. Leiden, 1954. P. 117–138.

¹²⁰ См. *Kossmann E. H. La Fronde*. P. 204, 247, 250–252.

тиворечия между системами чиновников (*officiers*) и интендантов, обе группы в основном рекрутировались из дворянства мантии, тогда как банкиры и откупщики, с которыми боролись парламенты, были наделены тесно с ними связаны персонально. Процесс притирки, обеспеченный сосуществованием двух систем в одном государстве, завершился установлением их солидарности против масс. Сама глубина плебейского недовольства, проявившегося во время Фронды, сократила последнюю эмоциональную дистанцию между диссидентствующей аристократией и монархией: хотя в XVII в. еще повторялись крестьянские мятежи, никогда больше они не были поддержаны восстаниями «сверху». Фронда стоила Мазарини потери желанных целей в Средиземноморье. Однако когда война с Испанией завершилась Пиренейским миром, Руссильон и Артуа были присоединены к Франции; а отборная бюрократическая элита была готова к установлению административного порядка следующего царствования. Аристократия к этому времени угомонилась под скипетром завершеного солнечного абсолютизма Людовика XIV.

Новый суверен получил полный контроль над государственным аппаратом в 1661 г. Как только королевская власть и центр принятия решений воссоединились в фигуре одного правителя, стал очевиден политический потенциал французского абсолютизма. Парламентам заткнули рот, их права на представление возражений перед регистрацией королевских эдиктов (ремонастрации) были аннулированы в 1673 г. Другие суверенные дворы были поставлены в подчиненное положение. Провинциальные сословия более не могли обсуждать налоги и торговаться по их поводу: точные фискальные требования диктовались монархией, а сословия были вынуждены принимать их. Муниципальная автономия привилегированных городов (*bonnes villes*) была укрощена, а мэры приручены, когда в городах поднялись военные гарнизоны. Должность губернатора предоставлялась теперь только на три года, и занимавшие ее люди часто должны были постоянно жить при дворе, что делало ее только лишь почетным отличием. Командование укрепленными городами в пограничных регионах подвергалось тщательной ротации. Высшее дворянство заставили постоянно жить в Версале, как только был отстроен новый дворцовый комплекс (1682 г.), отлучив его от реального управления своими территориальными вотчинами. Эти меры против непокорного партикуляризма традиционных институтов и групп провоцировали, конечно, недовольство как среди принцев и пэров, так и среди провинциального дворянства. Однако они не меняли объективную связь между аристократией и государством, теперь более действенную, чем когда бы то ни было, в защите главных интересов благородного класса. О степени экономической эксплуатации, гарантированной французским абсолютизмом, можно судить по недавним подсчетам: на протяжении XVII в. Аристократия, составляя 2 % населения, присваивала 20–30 % валового национального дохода¹²¹. Центральный механизм королевской власти был, таким образом, сконцентрирован, рационализирован и увеличен без серьезного сопротивления аристократии.

Людовик XIV унаследовал своих ключевых министров от Мазарини: Летелье ведал военными делами, Кольбер совмещал управление королевскими финансами, двором и флотом, Лионне руководил внешней политикой, а Сегюр в должности канцлера занимался внутренней безопасностью. Эти дисциплинированные и компетентные администраторы формировали вершину бюрократической вертикали, оказавшейся теперь в распоряжении монархии. Король лично председательствовал в дискуссиях маленького государственного совета (*Conseil d'en Haut*), состоявшего из наиболее доверенных политических слуг и исключавшего всех принцев и магнатов. Он стал высшим исполнительным органом государства, в то время как Совет депеш (*Conseil des Depeches*) занимался проблемами провин-

¹²¹ Goubert P. Les Problemes de la Noblesse au XVIIe Siecle // XHlth International Congress of Historical Sciences. Moscow, 1970. P. g.

ций и внутренними делами, а вновь созданный Совет финансов (*Conseil des Finances*) управлял экономикой монархии. Эффективность подразделений этой строгой системы, созданной неустанной деятельностью самого Людовика XIV, была гораздо выше, чем громоздкого избыточного аппарата Габсбургского абсолютизма в Испании, с его полутерриториальной планировкой и нескончаемым коллективным пережевыванием проблем. Ниже уровнем находилась сеть интендантов, теперь охватывавшая всю Францию. Последней провинцией, получившей комиссара в 1689 г., была Бретань¹²². Страна была разделена на 32 *генералитета* (*generalites*), каждым из которых теперь управлял интендант с помощниками (*subdelegates*), наделенных новыми полномочиями по оценке и надзору за сбором талы — жизненно важные обязанности, переданные им от старых чиновников (*officier*) — «казначеев», ранее контролировавших этот налог. Общее количество персонала в гражданском секторе центрального государственного аппарата французского абсолютизма в правление Людовика XIV было по-прежнему весьма скромным: вероятно, всего 1000 ответственных работников, считая как тех, кто находился как при дворе, так и в провинциях¹²³. Но они опирались на серьезно усиленную машину принуждения. Были созданы постоянные полицейские силы для поддержания порядка и подавления мятежей, сначала в Париже (1667), а потом и по всей Франции (1698–1699). За это время до невероятных размеров выросла армия — от примерно 30–50 тысяч до 300 тысяч к концу правления¹²⁴. Постоянное жалованье, учения и униформа были введены Летелье и Лувуа; вооружение и укрепления модернизированы Вобаном. Рост этого военного аппарата означал окончательное разоружение провинциальной аристократии и появление ресурса, способного быстро и эффективно разгромить любое народное восстание¹²⁵. Швейцарские наемники, составлявшие гвардию Бурбонов, в два счета разделались с булонским крестьянством и с камизарами; новые драгуны осуществили массовое изгнание гугенотов из Франции. Идеологический фимиам, щедро расточаемый режиму оплаченными писателями и церковниками, драпировал военные репрессии, на которые тот опирался, но не мог скрыть их.

Французский абсолютизм достиг своего институционального апофеоза в последние десятилетия XVII в. Структура государства и культура гармоничного правления, достигшая совершенства в правление Людовика XIV, стала моделью для остальной аристократии Европы: Испания, Португалия, Пьемонт и Пруссия были только наиболее очевидными примерами его влияния. Однако политическое излучение (*rayonnement*) Версаля выходило за его пределы: организационные достижения бурбонского абсолютизма должны были, в концепции Людовика XIV, служить особой цели, выполняя задачу военной экспансии. Первое десятилетие правления (1661–1672 гг.) было временем подготовки внутри страны дальнейших авантур вовне ее. С административной, экономической и культурной точек зрения это были наиболее блестящие годы правления Людовика XIV; почти все его наиболее важные достижения датируются этим временем. Под мудрым руководством молодого Кольбера фискальное давление было стабилизировано и торговля процветала. Государственные расходы были уменьшены путем оптового сокращения всех новых должностей, созданных после 1630 г.; грабеж откупщиков также резко сократился, хотя государство и не вернуло себе функцию сбора налогов; земли королевского домена систематически возвращались государству. Личная *талъя* была снижена с 42 до 34 миллионов ливров, в то время как реальная *талъя* в менее обложенных налогом государственных провинциях (*pays d'etats*) поднята

¹²² См. Goubert P. Louis XIV at Vingt Millions de Francais. P. 164, 166.

¹²³ См. Ibid. P. 72.

¹²⁴ См. Stoye J. Europe Unfolding 1648–1688. London, 1969. P. 223; Goubert. Louis XIV et Vingt Millions de Francais. P. 186.

¹²⁵ См. Mousnier R. Peasant Uprisings. London, 1971. P. 115. В этой книге подчеркивается, что именно в силу этого фактора восстания 1675 г. в Бретани и Бордо оказались последними социальными беспорядками столетия.

примерно на 50 %; доход от не прямых налогов увеличился на 60 % благодаря внимательному надзору над системой откупов. Чистый доход монархии удвоился с 1661 по 1671 г., и регулярно достигался бюджетный профицит¹²⁶. Между тем была начата амбициозная меркантилистская программа ускорения мануфактурного и коммерческого роста во Франции и заморская колониальная экспансия; королевские субсидии создали новые отрасли промышленности (производство ткани, стекла, gobеленов, скобяных товаров), появились компании, созданные на основе королевских концессий для развития торговли с Ост- и Вест-Индией; большие субсидии получили судостроительные предприятия, и, наконец, был введен крайне протекционистский тариф. Именно этот меркантилизм, однако, напрямую привел к решению вторгнуться в Голландию в 1672 г., с намерением подавить конкуренцию со стороны ее торговли, доказавшей свое превосходство над французской, путем включения Соединенных провинций в состав Франции. Война с Голландией началась успешно: французские войска перешли Рейн, расположились на расстоянии удара от Амстердама и взяли Утрехт. Однако на защиту *status quo* быстро поднялась международная коалиция, прежде всего Испания и Австрия, в то время как Оранская династия сохранила власть в Голландии, установив семейный союз с Англией. Семь лет сражений закончились аннексией Францией Франш-Конте и улучшением ее границы в Артуа и Фландрии, однако Соединенные провинции остались нетронутыми, а антиголландский тариф 1667 г. был отменен: внешнеполитические итоги оказались более чем скромными. Дома же, во Франции, по фискальным сокращениям Кольбера был нанесен удар: вновь распространилась продажа должностей, увеличены старые налоги и изобретены новые, распространялись займы, коммерческие субсидии были урезаны. Война с этого момента стала доминировать практически над каждым аспектом царствования¹²⁷. Нищета и голод, вызванные государственными изъятиями, и серия плохих урожаев привели к возобновлению крестьянских восстаний в Гиени и Бретани в 1674–1675 гг. и быстрому подавлению их армией – на этот раз ни один лорд или помещик не попытался использовать их в своих целях. Аристократия, освобожденная от денежных обязательств, которые Ришелье и Мазарини пытались наложить на нее, оставалась лояльной на протяжении всего этого времени¹²⁸.

Восстановление мира на десятилетие в 1680-е гг., однако, только обострило самонадеянность абсолютизма Бурбонов. Король был теперь замурован в Версале, калибр министров уменьшился по мере того, как поколение, подобранное Мазарини, уступило место посредственным преемникам путем наследственной кооптации из одной и той же группы родственных семей «дворянства мантии»; неуклюжие антипапские жесты перемежались необдуманной высылкой протестантов из королевства; скрипучее юридическое крючкотворство использовалось для осуществления небольших аннексий на северо-востоке. Сельскохозяйственная депрессия продолжалась, хотя морская торговля восстановилась и расцвела, к тревоге английских и голландских купцов. Поражение французского кандидата на пост электора Кельна и восхождение Вильгельма III на английский трон были сигналами возобновления международного конфликта. Война Аугсбургской лиги (1689–1697) объединила практически всю Западную и Центральную Европу против Франции – Голландию, Англию, Австрию, Испанию, Савойю и большую часть Германии. Французские армии за предшество-

¹²⁶ Goubert P. Louis XIV et Vingt Millions de Francais. Paris, 1995. P. 90–92.

¹²⁷ Это верно даже в некотором смысле по отношению к его культурным идеалам: «Вновь установленная симметрия и порядок плаца предоставлял Людовику XIV и его современникам образец, которому должна была соответствовать жизнь и искусство; и мерный шаг (*pas cadence*) строгого командира отдавался эхом в королевской монотонности нескончаемых александрийских стихов». Roberts M. The Military Revolution 1560–1660//Essays in Swedish History. London, 1967. P. 206.

¹²⁸ Кардиналы пытались заставить аристократию платить замаскированные налоги в форме «коммутации» права военного уголовного суда (*ban*), наложенного на феоды. Дворянство испытывало большую неприязнь к этим решениям, и они были отменены Людовиком XIV. См.: Deyon P. A Propos des Rapports entr le Noblesse Francaise et la Moarchie Absolue pendant le Premiere Moitie du XVIIe Siecle // Revue Historique. Vol. 231. 1964. P. 355–356.

вавшее десятилетие выросли более чем вдвое – до примерно 220 тысяч человек. Но самое большее, чего они смогли достичь, это добиться с коалицией дорогостоящей ничьей; военные цели войны со стороны Людовика XIV нигде не были достигнуты. Единственным приобретением Франции по Рисвикскому миру было европейское признание аннексии Страсбурга, состоявшейся еще до войны. Остальные оккупированные территории должны были быть освобождены, а французский флот изгнан с морей. Для финансирования войны на поток было поставлено изобретение новых должностей, титулы выставлялись на аукцион, насильственные займы и государственная рента выросли в разы, ценой валюты манипулировали, и впервые был установлен подушный налог, которого не смогла избежать даже аристократия¹²⁹. Деревню охватили инфляция, голод и депопуляция. Однако уже через пять лет Франция вновь нырнула в европейский конфликт за Испанское наследство. Дипломатическая бездарность Людовика XIV и его грубые провокации опять скрепили максимальную антифранцузскую коалицию в ходе решающего военного соперничества, в которое она вступила. Завещание Карла II было составлено в пользу французского наследника, французские войска оккупировали Фландрию, Испания управлялась французскими эмиссарами, контракты на работоторговлю с ее американскими колониями переданы французским купцам, а изгнанный претендент-Стюарт нарочито приветствовался как легитимный английский монарх. Намерение Бурбонов монополизировать всю Испанскую империю, отказываясь от ее раздела или уменьшения обширных испанских владений, неизбежно объединил Австрию, Англию, Голландию и большую часть Германии против нее. Потянувшись за всем сразу, французский абсолютизм в результате не сохранил почти ничего от своей попытки политической экспансии. Армия Бурбонов – теперь уже численностью 300 тысяч, вооруженная ружьями и штыками, была истреблена под Бленхаймом (Blenheim), Рамийи (Ramillies), Турином, Уденарде (Oudenarde), Мальплаке (Malplaquet). Сама Франция пережила вторжение, а система откупов рухнула, валюта девальвировалась, в столице начались хлебные бунты, морозы и голод поразили сельскую местность. Тем не менее за исключением восстания гугенотов в Севеннах (Cevennes) крестьянство осталось спокойным. Правящий класс сомкнул ряды вокруг монархии, несмотря на самодержавную дисциплину и внешнеполитические катастрофы, потрясшие все общество.

Спокойствие наступило только после окончательного поражения в войне. Условия мира были смягчены из-за раскола в коалиции победителей, что позволило младшей ветви династии Бурбонов сохранить свою власть над Испанией ценой политического отделения от Франции. Во всем остальном разрушительные испытания не принесли галльскому абсолютизму никакой выгоды. Они только установили власть Австрии над Нидерландами и Италией и сделали Англию хозяйкой колониальной торговли в Испанской Америке. Парадокс французского абсолютизма состоял в том, что его величайшее процветание внутри страны не совпало с величайшим влиянием в международных делах; напротив, именно несовершенная и неполная государственная структура Ришелье и Мазарини, с ее институциональными аномалиями и израненная внутренними мятежами достигла впечатляющих успехов за рубежом, тогда как консолидированная и стабилизированная монархия Людовика XIV с ее невероятно выросшей силой и армией показательно провалилась в попытке установить господство в Европе или получить заметные территориальные приращения. Институциональное строительство и внешняя экспансия в случае Франции сместились по фазе и поменялись местами. Причина этого лежала, конечно, в ускорении времени по сравнению с развитием абсолютизма в целом в морских странах – Голландии и Англии. Испанский абсолютизм доминировал в Европе на протяжении ста лет; впервые остановленный голландской революцией, он окончательно проиграл французскому абсолютизму в середине XVII в. Французский абсо-

¹²⁹ См. *Goubert P. Louis XIV et Vingt Millions de Francais*. P. 158–162.

лютизм, однако, не получил сравнимой гегемонии в Западной Европе. Уже через го лет после Пиренейского договора его экспансия была остановлена. Окончательное поражение Людовика XIV было результатом не множества его стратегических ошибок, а изменения относительного положения Франции в европейской политической системе, сопутствовавшего Английской революции 1640–1660 гг. и государственному перевороту 1688 г.¹³⁰ Именно экономический подъем английского капитализма и политическая консолидация его государства в конце XVII в. застали врасплох французский абсолютизм, несмотря на то что он сам еще переживал период своего расцвета. Настоящими победителями войны за испанское наследство были купцы и банкиры Лондона: они создали всемирный британский империализм. Позднефеодальное Французское государство было остановлено двумя капиталистическими государствами неравной силы – Англией и Голландией – при помощи Австрии. Абсолютизм Бурбонов был по сути гораздо более сильным и цельным, чем испанский, однако и силы, собранные против него, тоже были пропорционально более могущественными. Усердная внутренняя подготовка Людовика XIV к внешнему господству оказалась тщетной. Час верховенства Версаля в Европе, казавшийся таким близким в 1660-е гг., так никогда и не пробил.

Начало эпохи Регентства в 1715 г. показало социальную реакцию на это поражение. Высшая аристократия, чьи долго сдерживавшиеся обиды на королевскую автократию вдруг получили свободу, немедленно вернулась. Регент получил согласие *парламента* Парижа отвергнуть завещание Людовика XIV в обмен на восстановление традиционного права на ремонстрацию (выражение протеста); правительство попало в руки пэров, которые немедленно прекратили действие системы министерств усопшего короля, приняв на себя прямую власть в так называемой *полисинодии*. Таким образом, регентство институционально восстановило как дворянство шпаги, так и дворянство мантии. Новая эпоха фактически усилила открыто классовый характер абсолютизма: В XVIII в. неаристократическое влияние в государственном аппарате уменьшалось, вместе с укреплением коллективного господства все более единой высшей аристократии. Захват магнатами регентства не продолжался долго: при Флери и двух слабых королях, сменивших его, система принятия решений на вершине государства вернулась к старой министерской модели, более не контролировавшейся монархом. Однако аристократия начиная с того времени мертвой хваткой вцепилась в высшие должности в правительстве: с 1714 по 1789 г. только три министра не были титулованными аристократами¹³¹. Юридические магистраты парламентов теперь также формировались узкой стратой дворян, как в Париже, так и в провинциях, от которой незнатные люди были отстранены. Королевские интенданты, когда-то бывшие бичом провинциальных землевладельцев, в свою очередь превратились фактически в наследственную касту: 14 из них в правление Людовика XVI были сыновьями интендантов¹³². Все архиепископы и епископы Церкви ко второй половине века были благородного происхождения, а большинство аббатств, монастырей и должностей каноников контролировались тем же классом. Высшее военное командование армии было занято грандами; покупка армейских должностей нуворишами (*roturiers*) была запрещена в 1760-е гг., когда стало необходимо доказать неопровержимое благородное происхождение для того, чтобы претендовать на ранг офицера. Аристократический класс в целом сохранял строго позднефеодальный статус: это был юридически определенный орден

¹³⁰ Конечно, Людовик XIV не смог правильно оценить эти перемены, что и стало причиной его постоянных дипломатических просчетов. Временная слабость Англии в 1660-е гг., когда Карл II был французским пенсионером, привела его к недооценке острова и в последующем, даже когда его центральное значение в западноевропейской политике стало уже очевидным. Неспособность Людовика XIV предложить упреждающую помощь Якову II в 1688 г. перед высадкой Вильгельма III стала одной из наиболее серьезных ошибок в его карьере, где их и без того было немало.

¹³¹ См. Goodwin A. The Social Structure and Economic and Political Attitudes of the French Nobility in the 18th Century // Xlth International Congress of Historical Science. Rapports. Vol. I. P. 361.

¹³² См. McManners J. France // The European Nobility in the 18th Century/A. Goodwin (ed.). P33-35.

из примерно 250 тысяч человек, исключенных из общего налогообложения и пользовавшихся монополией на должности в высших эшелонах бюрократии, судебной системы, духовенства и армии. Его внутренние подразделения были скрупулезно определены в теории, и между высшими пэрами и сельским мелкопоместным дворянством (*hobereaux*) существовала пропасть. Однако на практике «смазка» деньгами и родственными связями делала высший слой гораздо более гибко определенной группой, чем когда-либо ранее. Французская аристократия в эпоху Просвещения обладала полной гарантией своего положения в структурах абсолютистского государства. И все же непреодолимое чувство дискомфорта и трений сохранялось между аристократией и монархией даже в этот последний период оптимального союза между ними. Ибо абсолютизм, неважно, насколько близок по духу был его персонал и насколько привлекательны его услуги, оставался недостижимой и безответственной силой, вершившей дела над головой аристократии как целого. Условием его эффективности как государства была структурная дистанция между ним и классом, из которого он рекрутировался и чьи интересы защищал. Аристократия во Франции никогда не стала безусловно доверять и принимать абсолютизм: его решения не были подотчетны титулованному ордену, который дал ему жизнь. Это было необходимым условием из-за врожденной природы самого класса, но также из-за опасности необдуманных и произвольных действий, которые мог предпринять монарх. Полнота королевской власти, даже осуществляемой в мягкой форме, порождала дворянское недовольство ею. Монтескье – президент парламента Бордо при «легком» режиме Флери – нашел идейную форму для нового типа аристократической оппозиции, характерной для этого века.

На деле, монархия Бурбонов в XVIII в. сделала немного шагов по нивелированию «промежуточных властей», которые так превозносил Монтескье. Старый режим во Франции сохранял джунгли необычной юрисдикции, разделений и институтов—*pays s'états, pays d'élections, parlements, seneschaussees, generalites* – до самой революции. После Людовика XIV практически не происходило дальнейшей рационализации политической системы: так и не возник единый таможенный тариф, система налогообложения, юридический кодекс или система местной администрации. Единственная попытка монархии добиться нового единобразия в одном из институтов была попытка теологического подчинения духовенства путем преследования янсенизма, с которым неустанно боролся парламент Парижа во имя традиционного галликанства. Анахроничный спор по этому идеологическому вопросу был главным раздражителем в отношениях между абсолютизмом и дворянством мантии от Регентства до эпохи Шуазеля, когда иезуиты были изгнаны из Франции парламентами, в символической победе галликанства. Гораздо более серьезным был финансовый тупик, в который зашли монархия и магистраты. Людовик XIV оставил государство в огромных долгах, регентство уменьшило их наполовину с помощью системы законов, но стоимость внешней политики от войны за Австрийское наследство и далее, в сочетании с экстравагантностью двора поддерживали казну в состоянии постоянно углублявшегося дефицита. Последовательные попытки наложить новые налоги, нарушив фискальный иммунитет аристократии, наталкивались на сопротивление или саботаж парламентов и провинциальных штатов, которые отказывались регистрировать эдикты или принимали возмущенные ремонстрации. Объективные противоречия абсолютизма раскрылись здесь в их наиболее явной форме. Монархия пыталась обложить налогом богатство аристократии, тогда как аристократия требовала контроля над политикой монархии: благородное сословие, таким образом, отказывалось уступить свои экономические привилегии без того, чтобы получить политические права по контролю над королевским государством. В своей борьбе против абсолютистских правительств по этому вопросу юридическая олигархия парламентов все больше использовала радикальный язык *философов*: кочующие буржуазные идеи свободы и представительства все чаще стали появляться в риторике одной из самых косных, консервативных и кастовых ветвей французской

аристократии¹³³. К 1770-1780-м гг. любопытное культурное заражение групп аристократии идеями низших сословий было во Франции отчетливо выражено.

Дело в том, что XVIII в. стал временем быстрого роста рядов и богатств местной буржуазии. Эпоха, начавшаяся с регентства, была временем экономической экспансии, с вековым ростом цен, относительным аграрным процветанием (по меньшей мере в 1730–1774 гг.) и демографическим выздоровлением: население Франции выросло примерно с 18–19 до 25–26 миллионов человек в 1700–1789 гг. Хотя сельское хозяйство оставалось доминирующей отраслью производства, мануфактуры и торговля заметно развились. Продукция французской промышленности увеличилась примерно на 60 % за это столетие¹³⁴, настоящие фабрики начали появляться в текстильной отрасли, было положено начало металлургической и угольной промышленности. Гораздо более быстрым, однако, был прогресс торговли, особенно на международной и колониальной аренах. С 1716–1720 по 1784–1788 гг. внешняя торговля выросла в 4 раза, с постоянным экспортным излишком. Колониальная торговля достигла еще большего роста с развитием сахарных, кофейных и хлопковых плантаций на Антильских островах; в последние годы перед революцией она достигла $\frac{2}{3}$ уровня внешней торговли¹³⁵. Торговый бум естественным образом стимулировал урбанизацию; в городах строили новые дома, и к концу века провинциальные города Франции все еще значительно превосходили английские в размерах и численности населения, несмотря на гораздо более высокий уровень индустриализации по ту сторону Ла-Манша. Между тем продажа должностей сокращалась по мере овладения аристократией государственным аппаратом. Абсолютизм XVIII в. перешел на общественные займы, которые не создавали того же уровня близости с государством: рантье не получали дворянства или налогового иммунитета, как чиновники (*officiers*) до них. Самой богатой группой класса французских капиталистов оставались *финансисты*, чьи спекулятивные инвестиции собирали огромную прибыль с армейских контрактов, откупов и королевских заимствований. Одновременное уменьшение доступа незнатных людей к феодальному государству и развитие торговой экономики вне него освободили буржуазию от ее подчиненности и зависимости от абсолютизма. Купцы, промышленники и корабельщики времен Просвещения, а также адвокаты и журналисты, выросшие вместе с ними, теперь все больше процветали за рамками государства, с неминуемым результатом для политической автономии буржуазного класса как целого.

Монархия, со своей стороны, уже показала свою неспособность защитить интересы буржуазии, даже когда они номинально совпадали с интересами самого абсолютизма. Нигде это не было более ясно, чем во внешней политике позднего государства Бурбонов. Войны этого столетия точно следовали традиционной модели. Небольшие аннексии земли в Европе всегда на практике получали приоритет над защитой или присоединением заморских колоний; морская и торговая мощь приносилась в жертву территориальному милитаризму¹³⁶. Флери, стремившийся к миру, успешно добился поглощения Лотарингии в кратких кампаниях из-за Польского наследства в 1730-е гг., от которых Англия держалась в стороне. Во время войны за Австрийское наследство в 1740-е гг., однако, английский флот наказывал французскую торговлю на всем пути от Карибов до Индийского океана, нанеся огромные торговые потери Франции, пока Саксония завоевывала Южные Нидерланды в завершенной, но тщетной наземной кампании: мир восстановил *status quo ante* с обеих сторон, но стра-

¹³³ О парламентах последних лет старого режима см.: *Egert J. La Pre-Revolution Francaise, 1787–1788. Paris, 1962. P. 149–160.*

¹³⁴ *Souboul A. La Revolution Francaise. Vol. I. Paris, 1964. P. 45.*

¹³⁵ *Lough J. An Introduction to XVIII Century France. London, 1960. P. 71–73.*

¹³⁶ Военно-морской бюджет никогда не составлял более половины английского. Об этом см.: *Dorn W. Competition for Empire. New York, 1940. P. 116.* Дорн представляет впечатляющую картину недостатков французского флота в ту эпоху.

тегические уроки были уже ясны для Питта в Англии. Семилетняя война (1756–1763), в которой Франция обязалась поддержать австрийскую атаку на Пруссию вопреки любому разумному династическому интересу, принесла несчастье колониальной империи Бурбонов. Континентальная война велась на этот раз апатично французскими армиями в Вестфалии, пока морские сражения, начатые Британией, смели Канаду, Индию, Западную Африку и Вест-Индию. Дипломатия Шуазеля восстановила владения Бурбонов на Антильских островах по условиям Парижского мира, но шанс, что Франция будет руководить торговым империализмом в мировом масштабе, был упущен. Американская война за независимость позволила Парижу достичь политического реванша над Лондоном «по доверенности»; однако французская роль в Северной Америке, хотя жизненно важная для успеха американской революции, была, по сути дела, мародерской операцией, которая не принесла никаких приобретений Франции. В самом деле, именно стоимость интервенции Бурбонов в войну за американскую независимость привела к последнему фискальному кризису французского абсолютизма. К 1788 г. государственный долг был таким большим – выплата процентов по нему составляла почти 50 % расходов бюджета – и бюджетный дефицит таким острым, что последние министры Людовика XVI Калонн и Ломени де Бриен решились наложить земельный налог на аристократию и духовенство. Парламенты яростно сопротивлялись этим схемам, монархия в отчаянии издала декрет об их роспуске, затем отступила перед озабоченностью собственнических классов и восстановила их, а в конце концов капитулировала перед требованием парламентов о созыве Генеральных штатов для получения их согласия на налоговую реформу, созвало три сословия в условиях катастрофического дефицита зерна, широкой безработицы и народных страданий в 1789 г. Аристократическая реакция против абсолютизма вслед за этим перешла в буржуазную революцию, которая свергла ее. Историческое крушение французского абсолютистского государства было прямо связано с негибкостью его феодальной структуры. Фискальный кризис, который детонировал в революции 1789 г., был спровоцирован его юридической неспособностью обложить налогом класс, который оно представляло. Сама негибкость связей между государством и аристократией в конечном счете предопределила их общее падение.

5. Англия

В Средние века английская феодальная монархия была гораздо более могущественной, чем французская. Монархи Нормандской и Анжуйской династий создали королевское государство, не имевшее себе равных по влиянию и силе во всей Западной Европе. Именно сила английской средневековой монархии позволила ей предпринимать амбициозные территориальные авантюры на европейском континенте, тесня Францию. Столетняя война (1337–1453), во время которой сменявшие друг друга английские короли и их аристократия попытались завоевать и удерживать огромные территории Франции, находившиеся за опасным морским барьером, представляла собой уникальное военное предприятие Средневековья, демонстрируя организационное превосходство островного государства. Но сильнейшая средневековая монархия на Западе в конце концов породила слабейший и недолговечный абсолютизм. В то время как Франция превратилась в самое внушительное абсолютистское государство в Западной Европе, Англия создала необычно мягкий вариант абсолютистского режима. Переход от средневековой к ренессансной эпохе, таким образом, совпал в английской истории – несмотря на все местные легенды о непрерывной «последовательности» – с глубоким и радикальным отходом от многих наиболее характерных черт прежнего феодального развития. Естественно, определенные средневековые структуры наибольшей важности были сохранены и унаследованы. Именно эта противоречивая смесь традиций и новых явлений объясняет особый политический перелом, случившийся на острове в эпоху Ренессанса.

Ранняя административная централизация нормандского феодализма, связанная как с изначальным военным завоеванием, так и со скромными размерами страны, породила, как мы видим, необыкновенно маленький и регионально единый класс знати, в котором никогда не было владык полунезависимых земель, сравнимых с существовавшими на европейском континенте. Города, наследовавшие англосаксонские традиции, были частью королевского домена с самого начала и поэтому пользовались коммерческими привилегиями, но не политической автономией коммун (как это было в Европе): они никогда не были многочисленными или достаточно сильными в средневековую эпоху, чтобы бросить вызов своему подчиненному положению¹³⁷. Руководители Церкви здесь так и не смогли сформировать больших консолидированных сеньориальных анклавов. Таким образом, средневековая монархия в Англии была избавлена от опасностей, подстерегавших централизованную власть во Франции, Италии или Германии. Результатом стала *параллельная* централизация в рамках средневековой политической системы, как королевской власти, так и представительства знати. Эти два процесса в действительности не противоречили, а дополняли друг друга. В парцелярной системе феодального суверенитета власть монарха, являвшегося верховным сюзереном, в целом могла существовать только при поддержке особых вассальных ассамблей, способных оказывать чрезвычайную экономическую и политическую поддержку, вне иерархии персональной зависимости, пронизывающей общество. Поэтому средневековые сословия, как указывалось выше, никогда прямо не противостояли власти монарха: они часто были непременным условием ее существования. Нигде в Европе XII столетия не было точной копии той королевской власти и администрации, какая принадлежала Анжуйской династии в Англии. Но личная королевская власть монарха весьма скоро стала сопровождаться властью

¹³⁷ Вебер в своем исследовании английских средневековых городов отмечает среди прочих особенностей важный аспект, что они никогда не переживали гильдейских или муниципальных революций, в отличие от континентальных городов Европы: *Economy and Society*. Vol. iii. P. 1276–1281 (см. Вебер М. *Город*/Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 362–363). Лишь однажды – в 1263–1265 гг. – в Лондоне образовался мятежный *conjuratio* (городской союз). О нем см.: Williams G. *Medieval London. From Commune to Capital*. London, 1963. P. 219–235. Но это был исключительный случай, вписывающийся в общий контекст восстания баронов.

ранних коллективных институтов правящего класса феодалов, носивших уникально унитарный характер – парламентов. Существование средневековых парламентов в Англии начиная с XIII в., конечно, не являлось национальной особенностью. Их отличие заключалось скорее в том, что они были одновременно «единственными» и «объединяющими» институтами¹³⁸. Другими словами, существовала только одна такая ассамблея, представительство в которой совпадало с границами самой страны, а не множество разных для отдельных провинций; кроме того, состав английских парламентов не предполагал деления на три сословия – знать, духовенство и бюргеров, как было распространено на европейском континенте. Со времен Эдварда III (1327–1377) в английском парламенте рыцари и города постоянно были представлены вместе с баронами и епископами. Двухпалатная система лордов и общин явилась результатом дальнейшего развития института, когда парламент разделился не по сословиям, но по четко обозначенному внутриклассовому различию среди знати. Централизованная монархия породила единый парламент.

Из ранней централизации английской феодальной политики вытекали два следствия. Единые парламенты, которые собирались в Лондоне, не получили ни возможности тщательного фискального контроля, ни права регулярного созыва, которыми позже характеризовались некоторые из европейских континентальных сословных систем. Но они отстаивали традиционное право ограничения королевской *законодательной* власти, что приобрело большое значение в эпоху абсолютизма; со времени правления Эдварда I (1272–1307) утвердилось правило, что ни один монарх не может издавать новые законы без согласия с парламентом¹³⁹. Очевидно, это право вето соответствовало объективной необходимости власти аристократии. В действительности, поскольку географически и технически формирование централизованного королевского управления в Англии оказалось легче, чем где-либо еще, то там в такой же степени меньше потребность в том, чтобы она изобретала для себя дополнительное право законодательства ввиду отсутствия опасности регионального сепаратизма или анархии герцогов. Таким образом, в то время как реальная исполнительная власть средневековых королей Англии была обычно большей, чем у французских монархов, по тем же самым причинам они никогда не получали той относительной законодательной автономии, которой пользовались их французские коллеги. Второй отличительной чертой английского феодализма было необычное слияние монархии и знати на местном правовом и административном уровнях. Хотя по всему европейскому континенту судебная система было обычно разделена на личную королевскую и сеньориальную юрисдикции, в Англии процветание дофеодальных народных судов создавало своего рода почву, на которой могло быть достигнуто слияние обеих. Шерифы, обеспечивавшие руководство местными судами в графствах, были ненаследственными королевскими назначениями; тем не менее они выбирались из местного дворянства, а не из среды столичных чиновников; сами же суды сохранили остатки своего первоначального характера народных судебных собраний, в которых участвовали на равных правах все свободные люди сельского сообщества. В результате английское правосудие не превратилось ни во всестороннюю систему профессиональных королевских судей (*baili*, бальи), ни в обширную систему баронских «высших судов» (*haute justice*); вместо этого в английских округах появилось неоплачиваемое самоуправление аристократии, кото-

¹³⁸ Изначально судебные функции английского парламента также отличали его от других; в парламенте происходили судебные рассмотрения петиций, большое количество которых отмечается в XIII в., когда среди парламентариев преобладала верная королю знать. О появлении и эволюции средневековых парламентов см.: *Sayles G. O. The Mediaeval Foundations of England*. London, 1964. P. 448–457; *Holmes G. A. The Later Middle Ages*. London, 1962. P. 83–88.

¹³⁹ Важность этого ограничения была подчеркнута Дж. П. Купером. См.: *Cooper J. P. Differences between English and Continental Governments in the Early Seventeenth Century// Britain and the Netherlands/J.J. Bromley and E.H. Kossmann (ed.)*. London, 1960. P. 62–90, esp. P. 65–71. Как он полагает, это означало, что, когда в раннее Новое время появилась «новая монархия», она в Англии была ограничена «справедливым» правом, в отличие от божественного или естественного права теории власти Ж. Бодена.

рое позже разовьется в систему мировых судов раннего Нового времени. В средневековый период, конечно, местные суды графств уравнивались сосуществованием с манориальными судами и различными сеньориальными привилегиями классического феодального типа, которые встречались повсюду в Европе.

В то же время средневековая знать Англии была таким же воинственным и хищным классом, как и повсюду в Европе; она отличалась размахом и постоянством во внешней агрессии. Ни одна феодальная аристократия позднего Средневековья не участвовала в таких далеких от своей территориальной базы и свободных походах всем сословием. Повторяющиеся грабежи Франции во время Столетней войны (1337–1453) были самым ярким проявлением этого милитаризма: но были еще и Шотландия и Фландрия, рейнские земли и Наварра, Португалия и Кастилия, которые становились целями вооруженных экспедиций англичан в XIV в. Английские рыцари сражались повсюду от Ферта в Шотландии до Эбро в Италии в эту эпоху. Военная организация этих экспедиций отражала местное развитие монетизированного «бастардного феодализма». Последнее типичное феодальное войско, собранное на основе зависимости от земельного владения, было созвано для похода Ричарда II на Шотландию. Сражения Столетней войны уже представляли собой битвы наемных отрядов, сформированных на контрактной основе крупными земельными магнатами для короля и подчинявшихся только своим капитанам. Дополнительные силы предоставляли монархам английские графства и иностранные наемники. Поскольку регулярное или профессиональное войско в тот период отсутствовало, то и масштаб экспедиций был скромным: во Францию никогда не отправляли больше, чем 10 тысяч воинов. Знать, возглавлявшая эти набеги на территории Валуа, занималась в основном грабежом. Добыча, выкуп и земля составляли предмет их амбиций. Самые удачливые капитаны значительно обогащались на войнах, в которых английские войска раз за разом побеждали превосходившие их французские силы, пытавшиеся их изгнать. Но стратегическое превосходство английских захватчиков на протяжении большей части долгого конфликта не было связано, как может в ретроспективе показаться, с контролем над морями. Средневековые флоты Северного моря состояли не более чем из импровизированных кораблей – перевозчиков войск; это были в основном торговые суда, привлеченные лишь на время военных действий и не способные патрулировать моря постоянно. Ареной морских сражений все еще оставалось Средиземноморье, а главным оружием – весельная галера. Нет никаких сведений о морских битвах той эпохи в Атлантике: это были мелкие стычки, происходившие в небольших заливах или устьях рек (Слэйс или Ла-Рошель), где сражавшиеся суда могли сойтись для абордажа и рукопашного боя своих воинов. Ни о каком стратегическом «морском превосходстве» не могло быть и речи в ту эпоху. Поэтому побережья с обеих сторон Ла-Манша оставались одинаково незащищенными от высадки войск со стороны моря. В 1386 г. Франция собрала самые большие войско и флот за всю войну для полномасштабного вторжения в Англию. В планах обороны острова даже и не предполагался перехват этого флота в море. Было решено во избежание потерь оставить английский флот на Темзе, а врага заманивать в ловушку вглубь острова¹⁴⁰. В тот раз вторжение не состоялось, но беззащитность Англии со стороны моря была очевидна во время войны, в которой морские набеги играли ту же роль, что и кавалерийские атаки (*chevauchees*) на суше. Французский и кастильский флоты, используя мобильные галеры южного (средиземно-морского) типа, захватили, разграбили или сожгли ужасающее количество портов на всем побережье от Девона до Эссекса: среди других городов Плимут, Саутгемптон, Портсмут, Льюис, Гастингс, Уинчелси, Рай, Грейвсенд и Гарвич захватывались или подвергались ограблению в течение конфликта.

¹⁴⁰ Подробнее об этом сюжете см.: Palmer J. England, France and Christendom, 1377–1399. London, 1972. P. 74–76.

Английское превосходство в ходе Столетней войны, приведшее к тому, что постоянным полем сражений, сопровождавшихся разрушениями и грабежами, была Франция, не являлось результатом превосходства на море¹⁴¹. Оно было следствием глубокой политической интеграции и единства английской феодальной монархии, чья административная способность эксплуатировать свои патримонии и спланировать свою знать до самого конца войны была гораздо большей, чем у французской монархии, измотанной нелояльными вассалами в Бретани или Бургундии и ослабленной своими ранними неудачными попытками отобрать английский феодал в Гиени. Лояльность английской аристократии закреплялась успешными военными походами, которыми руководили английские принцы-военачальники. Ситуация не изменялась до тех пор, пока французская феодальная политика не была реорганизована Карлом VII на новой фискальной и военной основе. Как только англичане лишились своих бургундских союзников, их силы относительно быстро были вытеснены большими и лучше оснащенными французскими войсками. Ужасным последствием окончательного краха английской мощи во Франции стало начало Войны Алой и Белой Розы. Поскольку победоносная королевская власть больше не объединяла высшую знать, позднесредневековая военная машина развернулась против внутренних врагов и обрушилась на Англию, представ как в виде жестоких банд и одиночек, разорявших владения магнатов, так и соперничающих узурпаторов, сражавшихся за английский трон. Гражданская война в конечном счете закончилась в 1485 г. на поле Босворта победой новой королевской династии Тюдоров.

Правление Генриха VII постепенно подготовило появление новой монархии в Англии. При последних Ланкастерах аристократические фракции заметно укрепили парламенты и управляли ими в своих целях, тогда как Йорки боролись в условиях анархии за новое усиление центральных институтов королевской власти. Будучи Ланкастером по происхождению, Генрих VII фактически развивал административную практику Йорков. До Войны Роз парламенты заседали фактически ежегодно, и в первое десятилетие после битвы при Босворте они продолжали собираться так же. Но как только стабильность в стране и обществе была восстановлена, а власть Тюдоров укреплена, Генрих VII нарушил эту традицию: с 1497 по 1509 г. – последние 12 лет его царствования – парламент собрался только один раз. Централизованное королевское правление осуществлялось через маленький кружок личных советников и прихвостней монарха. Его главной целью было покорение необузданной власти магнатов в предшествующие годы, сопровождавшейся террором бандитских дружин их вооруженных слуг, систематическим давлением на правосудие и постоянными междоусобными войнами. Эта политика Генриха VII проводилась с большим постоянством и успехом, чем при Йорках. Прерогатива высшего правосудия над знатью была предписана «Звездной палате», коллегиальному суду, который отныне стал главным политическим орудием монархии против бунта или мятежа. Региональные недовольства на севере и западе страны (где лорды заявляли, что владеют землей по праву завоевания, а не потому, что их наделил ею монарх) были пресечены специальными советами, созданными, чтобы контролировать ситуацию на местах (*in situ*). Расширенные права защиты и полусуверенные частные привилегии магнатов были отменены, банды вооруженных слуг распущены. Местные органы власти попали под королевский контроль путем тщательного отбора мировых судей (*Justices of the Peace* –) и наблюдения с их стороны; опасные восстания со стороны региональных вождей подавлялись. Появился прообраз полицейских органов – малые вооруженные отряды¹⁴². Королевский домен увеличился вчетверо за время правления благодаря возвращению земель. Также усилилась и феодальная эксплуатация, выросли таможенные пошлины.

¹⁴¹ См. соответствующие комментарии К. Ф. Ричмонда: *Richmond C. F. The War at Sea/The Hundred Years War/Flower K. (ed.). London, 1971. P. 117* и *English Naval Power in the Fifteenth Century //History. Vol. 52. N 174. February 1967. P. 4–5*. Исследование этого вопроса началось совсем недавно.

¹⁴² См. *Bindoff S. T. Tudor England. London, 1966. P. 56–66*. В этой работе хорошо показан весь этот процесс.

К концу правления Генриха VII общий королевский доход утроился, создав запас в казне от 1 до 2 миллионов фунтов стерлингов¹⁴³. Таким образом, династия Тюдоров заложила многообещающий фундамент строительства английского абсолютизма на рубеже XV–XVI вв. Генрих VIII унаследовал от отца сильную власть и растущую казну.

Первые 20 лет правления Генриха VIII не принесли больших изменений в стабильное внутреннее положение монархии Тюдоров. Руководство страной при кардинале Уолси не претерпело никаких крупных институциональных перемен, кроме того, что кардинал сконцентрировал в своих руках беспрецедентную власть над англиканской церковью как папский легат. И король, и первый министр были главным образом озабочены внешней политикой государства. Небольшие кампании против Франции в 1512–1514 и 1522–1525 гг. стали главными событиями этого периода. Чтобы справиться с финансовыми затратами на военные экспедиции, потребовалось провести два недолгих заседания парламента¹⁴⁴. Попытка Уолси собрать нефиксированный («дружеский») налог вызвала оппозицию Генриху VIII со стороны имущих слоев, но в тот момент еще не было никакого предчувствия драматического развития королевской политики в Англии. Все изменил «брачный» кризис 1527–1528 гг., вызванный решением короля развестись со своей испанской женой и последующим тупиком в отношениях с Папой Римским, поскольку дело касалось наследования трона. Для того чтобы устранить препятствие в лице Папы, связанное с вдохновленной династической враждебностью германского императора по поводу второго брака Генриха VIII, было необходимо новое и радикальное законодательство, а также национальная политическая поддержка против и Клементя VII, и Карла V.

Так, в 1529 г. Генрих VIII созвал парламент, заседавший без перерыва по 1539 г., чтобы обеспечить поддержку земельного класса в борьбе с Папой Римским и Священной Римской империей, а также в вопросе подчинения Церкви английскому государству. Это возрождение полузабытого института не было, однако, конституционной капитуляцией Генриха VIII или Томаса Кромвеля, который стал архитектором королевской политики в 1531 г.: обращение короля за помощью к парламенту означало не ослабление власти монарха, а скорее – новый шаг к ее укреплению. Парламенты Реформации не только увеличили власть монархии, передав ей контроль над всем аппаратом Церкви. Под руководством Кромвеля они также подавили сеньориальную автономию, лишив магнатов права назначать мировых судей, объединили всю протестующую знать в графствах и включили Уэльс юридически и административно в английское королевство. Еще более существенным шагом стал роспуск монастырей и конфискация их огромных богатств в пользу государства. В 1536 г. комбинация политической централизации и религиозной реформации вызвала опасное восстание на севере страны, бунт «благодатного паломничества» (Pilgrimage of Grace), ставший региональной реакцией против сильного королевского государства того типа, который был характерен для Западной Европы в ту эпоху¹⁴⁵. Восстание было быстро подавлено, и был создан новый постоянный Северный совет, для того чтобы удерживать земли за Трентом. Между тем центральная бюрократия при Кромвеле была увеличена и реорганизована, он преобразовал должность королевского секретаря в самый высокий министерский пост и создал

¹⁴³ Elton G.R. *England under the Tudors*. London, 1956. P. 49, 53.

¹⁴⁴ Рассел (*Russel C.* *The Crisis of Parliaments*. Oxford, 1971. P. 41–42) категорически заявляет, что английский парламент этого периода с его нерегулярными собраниями и краткими заседаниями не представлял собой влиятельной силы; с другой стороны, он верно отмечает, что конституционное равновесие между монархией и парламентом опиралось на классовое единство правителей страны. О социальной базе английского парламентаризма см.: *Williams P.* *The Tudor State // Past and Present*. № 24. July 1963. P. 39–58.

¹⁴⁵ Обсуждение значения восстания «благодатного паломничества», которое обычно преуменьшается, содержится в *Scarisbricke J.J.* *Henry VIII*. London, 1971. P. 444–445. 452-

основы постоянного Тайного совета¹⁴⁶. Вскоре после падения министра Тайный совет был формально институционализирован в качестве внутреннего исполнительного инструмента монархии и в будущем стал центром государственной машины Тюдоров. Статуты и прокламации, очевидно разработанные, чтобы передать монархии чрезвычайные законодательные полномочия, и ставившие под сомнение будущее парламента, были в конечном счете нейтрализованы палатой общин¹⁴⁷.

Но это не мешало Генриху VIII проводить кровавые чистки министров и магнатов или создать тайную полицейскую службу, занимавшуюся доносами и арестами. Государственный репрессивный аппарат регулярно увеличивался в течение всех лет правления Генриха VIII, к концу которого были приняты 9 законов об измене¹⁴⁸.

Использование Генрихом VIII парламента, от которого он не ожидал и не получал большого беспокойства, опиралось на легалистский подход: он был необходимым средством для достижения целей короля. Национальный абсолютизм находился в процессе становления в унаследованных рамках английского феодального государства, которое передало парламенту уникальные полномочия, что можно сравнить с любым подобным процессом на континенте. Реальная власть Генриха VIII в его государстве на протяжении его жизни была точно такой же, как и его конкурента во Франции Франциска I.

И все же новая монархия Тюдоров в своих действиях имела одно фундаментальное ограничение, которое ставит ее особняком в ряду аналогичных институтов за рубежом: у нее не было существенного военного аппарата. Чтобы понять, почему английский абсолютизм принял столь своеобразную форму, доминировавшую в XVI – начале XVII в., необходимо выйти за пределы национального наследия в законодательной деятельности парламента и посмотреть на весь международный контекст Европы эпохи Возрождения. В то время как государство Тюдоров успешно проходило внутреннюю перестройку, геополитическое положение Англии испытывало быстрые и решительные перемены. В эпоху Ланкастеров внешнеполитическая мощь Англии могла сравниться или превосходить любую другую страну континента из-за более развитой природы феодальной монархии в Англии. Но в начале XVI в. баланс сил между ведущими западными державами полностью изменился. Испания и Франция – две жертвы английского вторжения в предшествовавшую эпоху – теперь были энергичными и агрессивными монархиями, оспаривавшими друг у друга захват Италии. Обе они неожиданно обогнали Англию. Все три монархии достигли примерно одинаковой внутренней консолидации, но это было именно такое выравнивание, которое позволило естественным преимуществам двух континентальных держав той эпохи впервые стать решаю-

¹⁴⁶ Это событие в историографии было преувеличено до административной «революции» Кромвеля у Элтона, см.: *The Tudor Revolution in Government*. Cambridge, 1953– P-160-427 и *England under the Tudors*. P. 127–137, 160–175, 180–184, а затем уменьшено до скромных пропорций. См.: *Harris G.L. Mediaeval Government and State-Craft //Past and Present*. № 24. July 1963. P. 24–35. Современный взгляд см. у Рассела: *Russell C. The Crisis of Parliaments*. P. 111.

¹⁴⁷ В планах в это время было также создание регулярной армии и юридическое закрепление привилегий пэров – меры, которые, если бы были приняты, существенно изменили бы весь ход английской истории XVI–XVII столетий. Фактически ни одна из них не была приемлема для парламента, который приветствовал государственный контроль Церкви и королевскую службу в регионах, но знал о логике профессиональных войск и не хотел юридического разделения знати, поскольку это вызвало бы борьбу среди нее. Проект регулярной армии, созданный в 1536–1537 гг. и найденный в бумагах Кромвеля, обсуждался в: *Stone L. The Political Programme of Thomas Cromwell //Bulletin of the Institute of Historical Research*. Vol. XXIV. 1951. P. 1–18. О предложении придания законного привилегированного статуса согласно земельной собственности для титулованной аристократии см.: *Holdsworth W. A History of English Law*. Vol. IV. P. 450–543.

¹⁴⁸ Херстфилд (*Hurstfield J. Was there a Tudor Despotism after all? //Transactions of the Royal Historical Society*. 1967. P. 83–108) критикует апологетические анахронизмы, которые еще встречаются во многих работах. Он подчеркивает реальную связь между статутами и прокламации, Актами об измене, официальной цензурой и пропагандой власти Тюдоров. Мнение, будто монархия Тюдоров не была абсолютизмом, представлено в краткой форме у Р. Мунье. См.: *Mousnier R. Quelques Problemes Concernant La Monarchie Absolue //Relazioni del 10 congresso internazionale di Scienze Storiche*. Vol. 4. Firenze, 1955 P. 21–26. Отношение Генриха VIII к парламенту хорошо показано у Скарисбрика. См.: *Scarisbricke J.J. Henry VIII*. P. 653–654.

щими. Франция превышала Англию по численности населения в 4–5 раз, Испания же в этом отношении превосходила Англию вдвое, и это не считая ее американской империи и европейских владений. Такое демографическое и экономическое превосходство усиливалось географической необходимостью для обеих стран по причине постоянной войны в то время совершенствовать современные наземные войска на регулярной основе. Создание «ордонансных рот» (*compagnies d'ordonnance*) и терций (*tercios*), использование наемной пехоты и полевой артиллерии, – все это вело к организации нового типа королевского военного аппарата – более крупного и более затратного, чем все известные в средневековый период. Увеличение военной мощи было обязательным условием выживания для континентальных монархий эпохи Возрождения. У государства Тюдоров не было этого императива из-за его островного положения. С одной стороны, постепенный рост размеров армий и военных расходов в раннее Новое время и транспортные проблемы с перевозкой и снабжением большого количества солдат по воде сделали средневековый тип заморских экспедиций, в которых выделялась Англия, в большей степени анахронизмом. Военное превосходство новых континентальных держав, основанное на внушительных финансовых и человеческих ресурсах, предотвратило любое повторение кампаний Эдуарда III или Генриха V. С другой стороны, такое континентальное господство не было подкреплено равным морским могуществом; военно-морское дело оставалось, по сути, средневековым, что позволяло Англии пребывать в относительной безопасности, не опасаясь морского десанта. Результатом стал критически важный переход к «новой монархии» в Англии; у государства Тюдоров не было ни возможности, ни необходимости создавать военный механизм, сравнимый с тем, что был в распоряжении французского или испанского абсолютизма.

Однако субъективно ни Генрих VIII, ни его поколение среди английской знати еще не были способны понять новую международную ситуацию. Воинственная гордость и континентальные амбиции их средневековых предшественников все еще жили в памяти английского правящего класса того времени. Сам сверхосторожный Генрих VII, возродивший притязания Ланкастеров на французский престол, стремился предотвратить поглощение династией Валуа Бретани и активно строил планы наследования Кастилии. Уолси, который в последующие 20 лет направлял внешнюю политику Англии, выступил в качестве арбитра в достижении европейского согласия в период подписания Лондонского договора и стремился никак не меньше, чем к самому итальянскому папству. Генрих VIII, в свою очередь, питал надежды стать императором Германии. Эти грандиозные планы рассматривались поздними историками как нереальные фантазии; в действительности они отражали затруднения английских правителей в осознании своего места в новой дипломатической ситуации, в которой положение Англии в реальности стало весьма слабым, причем именно в такое время, когда их власть внутри страны значительно усилилась. В действительности именно утрата международного положения, незамеченная местными сторонниками, лежала в основе всех просчетов с королевским разводом. Ни кардинал, ни король не понимали, что папство вынуждено подчиняться превосходящему давлению Карла V из-за господства власти Габсбургов над Европой. Франко-испанская борьба за Италию отодвинула на обочину Англию – беспомощного наблюдателя, интересы которого в курии не имели никакого веса. Результатом удивительного открытия стал переход «защитника веры» в стан Реформации. И все же провалы внешней политики Генриха VIII не ограничивались его пагубными дипломатическими ошибками. В трех случаях монархия Тюдоров попыталась вмешаться в войны между Габсбургами и Валуа в Северной Франции, предприняв экспедицию через Ла-Манш. Армии, отправленные в кампании 1512–1514, 1522–1525 и 1543–1546 гг., будучи неизбежно значительного размера, состояли из английского ополчения, увеличенного за счет иностранных наемников: 30 тысяч – в 1512 г.; 40 тысяч – в 1544 г. Их высадка не имела каких-либо серьезных стратегических целей и не принесла значительных приобретений; уход англи-

чан с линии борьбы между Испанией и Францией продемонстрировал как свою дороговизну, так и бесполезность. Но эти «бесцельные» войны Генриха VIII, отсутствие какой-либо логической причины для которых столь часто отмечалось, не были лишь результатом личной прихоти; они точно соответствовали любопытной исторической паузе, когда английская монархия потеряла свое прежнее значение во Франции, но еще не обрела морской роли, ожидавшей ее в будущем.

Однако нельзя сказать, будто они не имели значительных результатов в самой Англии. Последнее важное предприятие Генриха VIII – его союз с Империей и нападение на Францию в 1543 г., имел роковые последствия для будущего английской монархии. Военная интервенция на континент была проведена плохо; расходы на нее возросли неимоверно, достигнув в итоге суммы, превышавшей в 10 раз затраты на первую войну Генриха с Францией; чтобы покрыть эти расходы, государство не только прибегло к вынужденным займам и снижению стоимости монеты, но и начало продавать на рынке сельскохозяйственные угодья, которые были только что отняты у монастырей, составлявшие около земель королевства. Продажа монархией бывших церковных земель к моменту смерти Генриха увеличила военные расходы в несколько раз. Когда же мир был восстановлен, огромное количество таких владений было распродано¹⁴⁹; вместе с этим был потерян единственный великий шанс английского абсолютизма создать твердую экономическую базу, независимую от парламентского налогообложения. Такая передача собственности не только ослабила государство в долгосрочной перспективе, но и чрезвычайно усилила джентри, которое представляло основных покупателей этих земель, и их число, а также богатство отныне постоянно росли. Таким образом, одна из самых унылых и нелогичных войн в английской истории оказала большое влияние на внутренний баланс сил в английском обществе.

Действительно, двойственные аспекты последнего эпизода в правлении Генриха во многом предзнаменовывали эволюцию всего английского землевладельческого класса. Ибо в действительности военный конфликт 1540-х гг. был последней в столетии агрессивной войной, которую Англия вела на континенте. Исчезли иллюзии Креси и Азенкура. Но постепенная утрата традиционного призвания глубоко изменило образ английской знати. Отсутствие сдерживающей готовности к вероятному вторжению позволило английской знати в эпоху Возрождения обходиться без модернизированного военного аппарата. Ей непосредственно не угрожали соперничавшие феодальные классы из-за рубежа; и она крайне неохотно, как любая аристократия на такой же стадии ее эволюции, подчинялась широкомасштабному укреплению королевской власти на родине, которое было логическим последствием наличия огромной постоянной армии. В результате в изоляционистском контексте островного королевства демилитаризация самого благородного класса произошла исключительно рано. В 1500 г. каждый английский пэр служил в армии; ко времени Елизаветы, как подсчитано, только половина аристократии имела боевой опыт¹⁵⁰. Ко времени гражданской войны XVII в. крайне мало дворян имели вообще хоть какой-нибудь военный опыт. Это было гораздо более раннее, чем где-либо на континенте, прогрессирующее отчуждение дворянства от его главной военной функции, которая в средневековом социальном порядке являлась для нее определяющей; это неизбежно имело важные последствия для самого землевладельческого класса. В особом морском контексте так и не произошло умаления его репутации, обычно связанной с глубоким ощущением добродетелей меча и кодифицированной против искушений кошелька. Это, в свою очередь, способствовало постепенному обращению английской аристократии к торговой деятельности задолго до любого другого зем-

¹⁴⁹ К концу правления 2/3 монастырских владений были отчуждены; доход от продажи церковных имений вырос на 30 % по сравнению с объемом арендных платежей. См.: *Dietz F. English Government Finance, 1485–1558*. London, 1964. P. 147, 149, 158, 214.

¹⁵⁰ См. *Stone L. The Crisis of the Aristocracy*. Oxford, 1965. P. 265–266.

левладельческого класса Европы. Распространение овцеводства, которое стало растущим сектором в сельском хозяйстве XV в., естественно, чрезвычайно усилило это обращение, в то время как сельское производство тканей, которое было связано с первым, стало естественным местом приложения дворянских инвестиций. Тем самым был открыт экономический путь, который вел от превращений феодальной ренты XIV–XV вв. к появлению расширявшегося сельскохозяйственного капиталистического сектора в XVII в. Когда он был выбран, стало невозможно поддерживать закреплённый законом особый характер английской знати.

В эпоху позднего Средневековья Англия обнаружила, вместе с большинством других стран, тенденцию к официальной стратификации рангов аристократии с введением новых титулов, после того как изначальная феодальная иерархия вассалов и сеньоров была размыта началом монетизации общественных отношений и распадом классической ленной системы. Повсюду знать чувствовала необходимость создания новой и более сложной иерархии рангов, поскольку в целом стала переживать упадок система личной зависимости. В Англии XIV–XV вв. наблюдалось принятие знатью серии новых титулов герцогов, маркизов, баронов и виконтов, которые стали средством гарантирования первородства в наследовании, отделявшим истинное «пэрство» от остального класса¹⁵¹. Отныне этот слой всегда включал самую могущественную и богатую группу внутри аристократии. В то же время была сформирована Геральдическая коллегия, которая придавала законный статус джентри, ограничивая его семьями, имеющими герб, и устанавливая процедуры для исследования претензий на такой статус. Более жесткий двухсословный аристократический порядок, законодательно отделявший находившихся ниже *roturiers* (простолюдинов), таким образом, мог развиваться в Англии так же, как и в других странах. Но все более невоенные и протокоммерческие интересы знати, стимулировавшиеся продажей земли и аграрным бумом эпохи Тюдоров, сделали невозможным укрепление жесткого барьера¹⁵². В результате «гербовый критерий» был неэффективен. Однако в Англии появилась характерная особенность, в соответствии с которой границы аристократии не совпадали с патентованным пэрством, представлявшим единственную ее часть, обладающую законными привилегиями, в то время как нетитулованное дворянство и младшие сыновья пэров могли господствовать в так называемой палате общин. Таким образом, характерные особенности английского землевладельческого класса были исторически оформлены; он был в основе исключительно гражданским, торговым по роду деятельности и *коммонером* по рангу. Этому классу соответствовало государство с небольшой бюрократией, ограниченными налогами и без постоянной армии. Как мы видели, внутренние тенденции развития монархии Тюдоров были поразительно схожи с ее континентальными конкурентами (вплоть до персональных параллелей между Генрихом VII, Людовиком XI и Фердинандом II, с одной стороны, а также Генрихом VIII, Франциском I и Максимилианом I – с другой); но ограниченность такого развития была предопределена характером окружавшей ее аристократии.

Между тем непосредственным наследием последнего вторжения Генриха VIII во Францию была острая нужда сельского населения из-за обесценивания монеты и фискального давления, вызвавших угрожающее положение и временную депрессию в торговле. Поэтому малолетство Эдуарда VI стало временем быстрого упадка политической стабиль-

¹⁵¹ Переход от раннесредневекового баронства к позднесредневековому пэрству и сопровождающая его эволюция рыцарства в джентри, прослежены Н. Денхолмом-Янгом. См.: *Denholm-Young N. En Remontant le Passe de l'Aristocratie Anglaise: le Moyen Age // Annales. May. 1937. P. 257–269.* (Сам титул «барон» приобрел новое значение как особый ранг в конце XIV в., отличавшийся от его раннего значения.) Укрепление системы пэрства проанализировано К. Б. Макфарлейном, который подчеркивал его новизну и отсутствие традиции. См.: *Macfarlane K. B. The English Nobility in the Later Middle Ages // Xllth International Congress of Historical Sciences. Vienna, 1965. Rapport. Vol. I. P. 337–345*

¹⁵² Следует помнить, что сам *loi de dérogeance* (закон о лишении дворянства), в эпоху позднего Возрождения созданный во Франции, датируется только 1560 г. Такая законодательная мера не была необходимой, поскольку функция дворянства была недвусмысленно военной; как и иерархические титулы, это было реакцией на новую социальную мобильность.

ности и авторитета государства Тюдоров с предсказуемыми интригами крупнейших территориальных владетелей за контроль над двором в десятилетие, отмеченное крестьянскими волнениями и религиозными кризисами. Крестьянские восстания в Восточной Англии и на юго-западе были подавлены итальянскими и немецкими наемниками¹⁵³. Но впоследствии, в 1551 г., эти профессиональные войска были расформированы с целью уменьшить расходы государственной казны; последний за почти три столетия крупный аграрный взрыв был подавлен последними крупными силами иностранных солдат, имевшимися в распоряжении монархии. А тем временем соперничество между герцогами Сомерсетом и Нортумберлендом вместе с их клиентами из менее крупных дворян, чиновников и военных выражалось в подковерных переворотах и контрпереворотах в Тайном совете посреди религиозных трений и династической неопределенности. Казалось, что все единство аппарата государства Тюдоров находится под временной угрозой. И все же опасность реального распада не только исчезла со смертью молодого государя; она вряд ли могла когда-либо вылиться в точную копию аристократических конфликтов во Франции из-за отсутствия в распоряжении противоборствующих магнатов зависимых войск. Развязка интерлюдии в правление Сомерсетов и Нортумберлендов должна была только радикализировать местную Реформацию и укрепить трон монарха перед лицом крупной знати. Короткое правление Марии с его династическим подчинением Испании и эфемерной католической реставрацией почти не оставило политических следов. Последняя опора Англии на континенте была потеряна после отвоевания Францией Кале.

Длительное правление Елизаветы во второй половине столетия в основном восстановило и укрепило внутренний *status quo ante* без каких-либо радикальных нововведений. Религиозный маятник вернулся к умеренному протестантизму с созданием прирученной англиканской церкви. Королевская власть в идеологическом плане во многом была укреплена, так как личная популярность королевы достигла новых высот. Однако в институциональном плане было сравнительно мало изменений. Во время первой половины правления, в период длительной и спокойной деятельности секретаря Берли (*Burghley*), был окончательно сформирован и укреплен Тайный совет. Уолсингем расширил сети шпионажа и полиции, направленные главным образом на подавление деятельности католиков. По сравнению с правлением Генриха VIII резко сократилась законодательная деятельность¹⁵⁴. Соперничество партий внутри высшей знати теперь в основном приняло форму коридорных интриг из-за почестей и должностей при дворе. Последняя серьезная попытка военного путча магнатов, а именно восстание конца царствования под руководством английского Гиза – Эссекса, была легко пресечена. С другой стороны, политическое влияние и богатство джентри, которое изначально поддерживали в противовес пэрам Тюдоры, теперь все более очевидно становились помехой для королевских прерогатив. Созывавшийся главным образом из-за возникновения внешних угроз 13 раз за 44 года, парламент теперь начал демонстрировать независимую позицию по вопросам правительственной политики. За столетие численность палаты общин значительно выросла, с 300 до 460 депутатов, среди которых постоянно увеличивалась доля сельских дворян, поскольку сельские сквайры или их покровители получали места, закрепленные за мелкими городами (*borough*)¹⁵⁵. Моральный упадок Церкви после светского господства и доктринальных метаний предшествовавших пятидесяти лет способствовал постепенному распространению в значительных слоях этого класса оппозиционного пуританства. Последние годы правления Тюдоров были отмечены новым упор-

¹⁵³ Правительство не могло в этом кризисе полагаться на верность ополчения графств. См.: *Jordan W. K. Edward VI: The Young King. London, 1968. P. 467..*

¹⁵⁴ См. сравнительные оценки статуты, сделанные Г. Р. Элтоном в: *Elton G. R. The Political Creed of Thomas Cromwell. Transactions of the Royal Historical Society. 1956. P. 81.*

¹⁵⁵ См. *Neale J.E. The Elizabethan House of Commons. London, 1949. P. 140, 147–148, 302.*

ством и сопротивлением парламента, религиозная назойливость и фискальная обструкция которого заставили Елизавету возобновить продажи королевских земель, чтобы минимизировать свою зависимость от него. Монархическая машина принуждения и бюрократии оставалась очень незначительной по сравнению с ее политическим престижем и исполнительными полномочиями. Более того, у нее не было вооруженных сил для ведения наземной войны, которые ускорили развитие абсолютизма на континенте.

Разумеется, влияние военного искусства эпохи Возрождения отнюдь не прошло мимо елизаветинской Англии. Армии Генриха VIII оставались разнородными и импровизированными по характеру: набранные дома архаичные рекруты-аристократы были перемешаны с фламандскими, бургундскими, итальянскими и «аллеманскими» (немецкими) наемниками, набранными за рубежом¹⁵⁶. Елизаветинское государство теперь, в эпоху Альбы и Фарнезе, столкнувшееся с реальной и постоянной внешней опасностью, прибегло к увеличению (в обход закона) традиционной в Англии системы вооруженного ополчения, чтобы собрать силы, достаточные для заморских экспедиций. Формально предназначенные для службы в качестве местного ополчения, около 12 тысяч человек, прошли специальную подготовку и содержались для обороны страны. Оставшиеся, часто собранные после облав на бродяг, предназначались для использования за рубежом. Установление подобной системы не создавало постоянной или профессиональной армии, хотя и обеспечивало регулярными военными контингентами в скромных масштабах для выполнения многочисленных внешнеполитических обязательств елизаветинского правительства. В качестве глав рекрутского ведомства большую роль приобрели лорды-наместники графств; медленно вводилась полковая организация, а огнестрельное оружие победило местную привязанность к длинным лукам¹⁵⁷. Сами контингенты вооруженного ополчения обычно объединялись с солдатами-наемниками: шотландцами или немцами. На континент отправлялась армия, никогда не превышавшая 20 тысяч солдат, то есть половина той, что участвовала в последней экспедиции Генриха; обычно же она была значительно меньше. Эти полки в Нидерландах или Нормандии показали себя не с лучшей стороны. По сравнению с приносимой ими пользой стоимость их была непропорционально высока, помешав какой-либо дальнейшей эволюции в том же направлении¹⁵⁸. Военная неполноценность английского абсолютизма продолжала препятствовать его экспансионистским целям на континенте. Поэтому елизаветинская внешняя политика направлялась в основном негативными целями: предотвращение восстановления испанского владычества в Соединенных провинциях, предотвращение укрепления Франции в Нижних Землях, предотвращение победы Лиги во Франции. В результате эти ограниченные цели были достигнуты, хотя роль английских армий в завершении самих взаимосвязанных европейских конфликтов была второстепенной. Решающая победа Англии в войне против Испании была достигнута в другом месте – в поражении Армады; но эту победу нельзя было развить на суше. Отсутствие какой-либо позитивной континентальной стратегии вылилось в расточительные и бессмысленные предприятия последнего десятилетия века. Длительная война с Испанией после 1588 г., которая дорого обошлась английской монархии относительно внутреннего дохода, закончилась без приобретения территорий или сокровищ.

И все же английский абсолютизм достиг главного военного завоевания этого периода. Елизаветинский абсолютизм, неспособный на фронтальное наступление против ведущих континентальных монархий, бросил свои крупнейшие армии против бедного и примитив-

¹⁵⁶ См. *Oman C. A History of the Art of War in the Sixteenth Century. London, 1937. P. 288–290.*

¹⁵⁷ *Cruikshank C. G. Elizabeth's Army. Oxford, 1966. P. 12–13, 19–20, 24–30, 51–53, 285.*

¹⁵⁸ Крюкшанк предположил, что причиной того, что в Англии того времени так и не появилась регулярная армия, могло стать отсутствие в течение почти 60 лет после смерти Генриха VIII взрослого государя мужского пола, способного лично командовать полевыми армиями. См.: *Army Royal. Oxford, 1969.*

ного кланового общества Ирландии. Кельтский остров оставался, вероятно, самым архаичным общественным образованием Запада, а может, и всего континента до конца XVI в. «Последний ребенок Европы»¹⁵⁹, по выражению Бэкона, находился за пределами римского мира; он не был затронут германскими завоеваниями; завоевания викингов затронули его, но не подчинили. Христианизированная в VI в., ее отсталая клановая система пережила только религиозное обращение без политической централизации; даже Церковь приспособилась к местному общественному порядку в этом отдаленном уголке веры, отказавшись от епископской власти в пользу общинной монастырской организации. Наследственные вожди и аристократы управляли свободными крестьянами, объединенными в большие родовые единицы, и были связаны узами вассалитета. В деревне преобладало скотоводство. Не было централизованной монархии, не существовали города, хотя с VII по IX в., в самый надр «темных веков», повсюду в монастырских общинах процветала письменная культура. Постоянные нападения норманнов в IX–X вв. разрушили культурную жизнь и местные клановые обычаи. Скандинавские анклавные города; под иноземным давлением, в конце концов, в глубине острова родилась центральная королевская власть, которая в начале XI в. ликвидировала опасность со стороны викингов. Эта случайная ирландская верховная монархия вскоре снова распалась на воюющие союзы, неспособные сопротивляться более серьезному вторжению. В конце XII в. Анжуйская монархия в Англии получила от папства во «владение» Ирландию, и англо-норманские баронские войска вторглись, чтобы подчинить и колонизировать остров. Английский феодализм с его тяжелой кавалерией и крепкими замками постепенно, за чуть более сто лет, установил формальный контроль над большей частью страны, кроме ее крайнего севера. Но плотность англо-норманских поселений была недостаточной, чтобы закрепить военные успехи. В позднесредневековый период, когда энергия английской монархии и знати была направлена в основном на Францию, ирландское клановое общество постепенно восстановило позиции. Область английского правления уменьшилась до маленькой территории Пейл (*Pale*) вокруг Дублина, за пределами которой располагались разбросанные «вольные» владения территориальных магнатов англо-норманского происхождения (к тому моменту все более «гэлизированных»), в свою очередь окруженные возрожденными кельтскими вождями, зоны контроля которых опять покрывали большую часть острова¹⁶⁰.

С появлением обновленного государства Тюдоров на рубеже Нового времени связаны первые серьезные попытки восстановить и усилить английское владычество над Ирландией в этом веке. В 1494–1496 гг. Генрих VII направил своего помощника Пойнинга уничтожить автономию местного баронского парламента. Тем не менее могущественная династия Килдаров, брачными узами близко связанная с ведущими гэльскими семьями, продолжала пользоваться самой большой феодальной властью, получив титул лорда-наместника. В правление Генриха VIII правительство Кромвеля начало применять более регулярные бюрократические средства для управления в Пейле; в 1534 г. Килдар был смещен, а мятеж его сына подавлен. В 1540 г. Генрих VIII, будучи отлученным Папой, который изначально пожаловал английской монархии управление Ирландией как «римским феодалом», принял новый титул

¹⁵⁹ «Ирландия – последняя из „детей Европы“ (*ex filiis Europae*), которая возвращается от разорения и пустыни (во многих частях) к населению и колонизации; и от дикости и варварских обычаев к гуманности и цивилизованности». См.: *The Works of Francis Bacon*. London, 1711. Vol. IV. P. 280. О других примерах подобных колониальных размышлений см. P. 442–448. Бэкон, как и его современники, хорошо знал о материальных выгодах английской цивилизаторской миссии: «Я скажу с уверенностью, что, если Бог благословил это королевство миром и справедливостью, ни один ростовщик так не уверен, что за семнадцать лет он удвоит свой капитал и проценты за счет процентов, как королевство, которое за то же время удвоит свой капитал как за счет богатства, так и людей... Нелегко вообще и точно невозможно на континенте найти такое средоточие товаров, если рука человека не действует об руку с природой» (P. 280, 444). Обратите внимание на ясность концепции Ирландии как альтернативы экспансии на континенте.

¹⁶⁰ О ситуации начала XVI в. см.: *MacCurtain M. Tudor and Stuart Ireland*. Dublin, 1972. P. 1–5, 18, 39–41.

короля Ирландии. На практике, однако, большая часть острова оставалась вне тюдоровской власти, управляемая либо «старыми ирландскими» вождями, либо «староанглийскими лордами», сохранявшими верность католицизму, в то время как Англия подпала под влияние Реформации. За пределами Пейла ко времени Елизаветы было образовано только два графства. Вскоре, как только монархия попыталась укрепить свою власть и создать «новоанглийские» владения протестантских колонистов, чтобы населить страну, вспыхнули сильнейшие восстания: в 1559–1566 гг. (Ольстер), в 1569–1572 гг. (Манстер) и в 1579–1183 гг. (Лейнстер и Манстер). Наконец, во время длительной войны между Англией и Испанией в 1595 г. вспыхнуло повсеместное восстание против Тюдоров под руководством ольстерского кланового вождя О'Нила, призвавшего на помощь Папу и Испанию. Стремясь к окончательному решению ирландской проблемы, елизаветинский режим собрал крупнейшие армии короны, чтобы снова занять остров и англоизировать страну раз и навсегда. Тактика партизанской войны, взятая на вооружение ирландцами, натолкнулась на политику безжалостного истребления¹⁶¹. Война продолжалась 9 лет, пока английский командующий Маунтджой не сломил всякое сопротивление. Ко времени смерти Елизаветы Ирландия в военном отношении была захвачена.

Однако эта знаменательная операция оказалась единственной победой тюдоровских наземных армий: одержанная с величайшими усилиями у дофеодального противника, она не могла быть повторена ни на одной другой арене. Решительное стратегическое усовершенствование того времени в пользу всей репутации английского земельного класса и его государства было сделано в другом месте: в медленных сдвигах в морском вооружении и морской экспансии на протяжении XVI в. К 1500 г. традиционное средиземноморское деление на «длинную» весельную галеру, созданную для войны, и «круглый» парусный ког, используемый в торговле, в северных водах начало сменяться конструированием больших военных кораблей, оснащенных огнестрельным оружием¹⁶². В новом типе боевых кораблей весла были заменены парусами, а солдаты начали уступать место пушкам. Генрих VII, создавший первый английский сухой док в Портсмуте в 1496 г., построил только два таких корабля. Однако именно Генриху VIII принадлежит заслуга начала «непрерывной и беспрецедентной» экспансии английской морской мощи; за первые пять лет после своего воцарения он ввел, купив или построив, во флот 24 военных корабля, увеличив его в 4 раза¹⁶³. К концу правления английская монархия обладала 53 кораблями и имела созданный в 1546 г. постоянный Морской совет. Огромные каракки того периода с их неустойчивыми башнями и вновь установленной артиллерией все еще были неуклюжим оружием. Морские битвы продолжали оставаться преимущественно abordажными сражениями между войсками на воде; и в войне конца правления Генриха VIII французские галеры все еще удерживали инициативу, совершая нападения до самого Солента. В правление Эдуарда VI в Чатэме был построен новый док, но в последовавшие десятилетия начался резкий упадок тюдоровской морской мощи, когда с введением более быстрого галеона испанское и португальское кораблестроение опередило Англию. Однако, начиная с 1579 г., в период управления Морским советом Хоукинсом прослеживается быстрое увеличение и модернизация королевского флота: были

¹⁶¹ Несколько очерков о тактике, которая использовалась, чтобы заставить ирландцев подчиниться, см.: *Falls C. Elizabeth's Irish Wars*. London, 1950. P. 326–329, 341, 343, 345. Английское неистовство в Ирландии, вероятно, было столь же смертоносным, что и испанское неистовство в Нидерландах: в действительности, нет ни малейших признаков, чтобы оно когда-либо обуздывалось соображениями, которые, например, удержали Испанию от разрушения голландских дамб — меры, отвергнутой правительством Филиппа II как акт геноцида. Сравните: *Parker G. The Army of Flanders and the Spanish Road*. Cambridge, 1972. P. 134–135.

¹⁶² Об этих нововведениях см.: *Cipolla C. Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion*. New York, 1965. P. 78–81; *Lewis M. The Spanish Armada*. London, 1960. P. 61–80. Последний настаивает на сомнительном английском приоритете в этом вопросе.

¹⁶³ *Marcus G.J. A Naval History of England. I. The Formative Centuries*. London, 1961. P. 30.

созданы низко-сидящие галеоны, оснащенные дальнобойными пушками, превратившими их в высокоманевренные артиллерийские площадки, предназначенные в ходе битвы топить противника огнем с максимального расстояния. Начало долго подготавливавшейся английскими пиратами острова Мэн морской войны с Испанией доказало техническое превосходство таких новых кораблей. «К 1588 г. Елизавета I была хозяйкой самого мощного военно-морского флота, который когда-либо видела Европа»¹⁶⁴. Армада была расстреляна английскими полукульверинами и разбросана штормом и бурей. Была обеспечена безопасность острова и заложены основы имперского будущего.

Окончательные результаты нового морского владычества, обретенного Англией, имели двоякий характер. Применение вместо наземных войск военно-морского флота наметило тенденцию к ограничению и обособлению военной силы, благополучно направив его за моря (до этого подобные корабли напоминали плавучие тюрьмы, на которых с известной жестокостью использовался труд принудительно завербованных). В то же время сосредоточение правящего класса на морском деле благоприятствовало его торговой ориентации. Тогда как армия всегда оставалась институтом специального назначения, флот был по природе инструментом двойного характера, нацеленным не только на войну, но и на торговлю¹⁶⁵. Огромное количество английских торговых судов, оснащенных пушками, все XVI столетие выполняли роль боевых кораблей, но при необходимости они могли вернуться к грузовым перевозкам. Естественно, государство поощряло премией за конструкцию торговых судов, способную к такой адаптации. Таким образом, флот должен был стать не только «более важным» инструментом аппарата насилия английского государства, но и «двусторонним» с глубокими последствиями для природы правящего класса¹⁶⁶. Ибо, хотя и будучи высокими на единицу¹⁶⁷, общие расходы на морское строительство и содержание флота были гораздо ниже, чем на содержание постоянной армии; в последние десятилетия правления Елизаветы они были в 3 раза меньше. В то же время выгоды на протяжении последующих столетий были гораздо выше; их суммой стала Британская колониальная империя. Все последствия этого упора на морское дело еще не были столь очевидны. Однако именно благодаря ему уже к XVI в. землевладельческий класс мог развиваться не в противостоянии, а в единстве с торговым капиталом в портах и графствах.

Пресечение династии Тюдоров в 1603 г. и приход Стюартов создали абсолютно новую политическую ситуацию для монархии, ибо с приходом Якова I Шотландия впервые объединилась в личной унии с Англией. Теперь под властью одного правящего дома были объединены две совершенно разные политические системы. Сначала шотландское влияние на модель развития Англии проявлялось слабо из-за исторической дистанции между общественными формациями; но в долгосрочной перспективе оно стало критическим для судеб английского абсолютизма. Шотландия, как и Ирландия, оставалась кельтской крепостью за пределами римской власти. Получив примесь ирландской, германской и скандинавской

¹⁶⁴ Mattingly G. The Defeat of Spanish Armada. London, 1959. P. 175.

¹⁶⁵ В действительности, к XVIII в., когда Адмиралтейство было самым дорогим подразделением правительства, флот не только мог полагаться на Сити как лоббиста своего бюджета; но и был вынужден торговаться с ним о том, торговые или стратегические интересы должны определять направление крейсирования эскадр. См.: Baugh D. British Naval Administration in the Age of Walpole. Princeton, 1965. P. 19.

¹⁶⁶ Гинтце лаконично и немного упрощенно прокомментировал: «Англия с ее островной безопасностью не нуждалась в постоянной армии, по крайней мере континентального размера, но только во флоте, который служил интересам торговли и военным целям; вот почему там не развивался абсолютизм». Он добавляет характерную фразу: «Земельная власть создает организацию, которая господствует в каждом органе государства и придает ему военную форму. Морская мощь – это только вооруженный кулак, направленный во внешний мир; она не подходит для использования против „внутренней армии“». См.: *Gesammelte Abhandlungen*. Vol. I. P. 59, 72. Сам Гинтце, являясь яростным защитником морского империализма Вильгельма II накануне Первой мировой войны, имел особые основания для серьезного внимания к английской морской истории.

¹⁶⁷ Затраты на одного человека в течение следующего века были в 2 раза выше на море, чем на суше. Военно-морской флот требовал, конечно, гораздо более развитой индустрии снабжения и обслуживания.

иммиграции в период «темных веков», в XI в. ее пестрая карта кланов была подчинена центральной королевской власти с юрисдикцией над всей страной, кроме северо-запада. В Высокое Средневековье столкновение с англо-норманским феодализмом здесь также придало новую форму местной политической и социальной системе; но в то время как в Ирландии оно приняло форму сомнительного военного завоевания, которое вскоре было смыто кельтским реваншем, в Шотландии местная династия Кэнморов сама пригласила английских поселенцев и привнесла английские институты, поощряя межнациональные браки со знатью Юга и подражая структурам более развитого королевства по другую сторону границы, с его замками, шерифами, управляющими и судьями. Результатом стала более глубокая и полная феодализация шотландского общества. Добровольно принятая «норманизация» уничтожила старое этническое разделение страны и создала новую линию языкового и социального разделения между Равниной (Lowland), где распространилась английская речь вместе с поместьями и пожалованиями, и Высокогорьем (Highland), где гэльский остался языком отсталого кланового сельского общества. В отличие от Ирландии, чисто кельтские области были окончательно сведены к меньшинству, ограниченному северо-западом. В период позднего Средневековья шотландская монархия в целом потерпела провал в попытках подчинить королю всех подданных. Влияние друг на друга политических моделей Равнины и Высокогорья привело к полуфеодализации верхушки кельтских кланов в горах и клановому влиянию на шотландскую феодальную организацию равнин¹⁶⁸. Кроме этого, постоянная пограничная война с Англией подрывала королевство. В условиях анархии XIV–XV вв. среди непрекращающихся беспорядков на границе бароны захватили наследственный контроль над должностями и территориями шерифов и установили частную юрисдикцию; магнаты вырвали провинциальные «регалии» у монархии, и повсюду проникли родовые сети.

В следующие полтора столетия наследовавшая династия Стюартов, опираясь на неустойчивое меньшинство и регентское правление, уже была неспособна прокладывать путь вперед среди все более распространявшегося беспорядка в стране, в то время когда Шотландия все сильнее становилась связанной дипломатическим союзом с Францией как противовесом английскому давлению. В середине XVI в. откровенное французское господство в период регентства Гизов вызвало ксенофобию среди аристократов и народа, что на этот раз создало направляющую силу местной Реформации; города, помещики и знать восстали против французского правительства, линии коммуникаций которого с континентом были перерезаны английским флотом в 1560 г., обеспечив успех шотландского протестантизма. Но религиозные перемены, которые отныне отдалили Шотландию от Ирландии, мало что изменили в политической системе страны. Гэльское Высокогорье, которое единственное оставалось верным католицизму, стало в течение столетия даже еще более диким и более беспокойным. В то время как на юге новым украшением ландшафта времен Тюдоров стали застекленные особняки, на Границе и Равнине по-прежнему сооружались сильно укрепленные замки. По всему королевству происходили частные вооруженные столкновения. Только после прихода к власти Якова VI, начиная с 1587 г., шотландская монархия стала серьезно укреплять свое положение. Яков VI, использовавший смесь умиротворения и насилия, создал сильный Тайный совет, покровительствовал магнатам и настраивал их друг против друга, создал новые пэрства, постепенно ввел в Церкви епископат, увеличил представительство мелких баронов и городков в парламенте, подчиняя последний созданием закрытых руководящих комитетов («лорды статей»), и умиротворил Границу¹⁶⁹. К началу XVII в. Шотландия, очевидно, была подчинена. И все же ее социально-политиче-

¹⁶⁸ См.: *Smout T. C. A History of the Scottish People, 1560–1830*. London, 1969. P. 44–47. Книга содержит социально заостренный обзор Шотландии перед Реформацией.

¹⁶⁹ *Donaldson G. Scotland: James V to James VII*. Edinburgh, 1971. P. 215–228, 284–290.

ская структура оставалась серьезной противоположностью современной ей Англии. Численность населения была небольшой (около 750 тысяч жителей); городов было немного, и они оставались маленькими, управлявшимися пасторами. Крупные знатные дома представляли собой территориальных владык ранее неизвестного в Англии типа: Гамильтонов, Хантли, Аргайлов, Энгюсов, контролировавших огромные районы страны с полным набором полномочий, военной свитой и зависимыми арендаторами. Феодалные владения принадлежали менее важным баронам; мировой суц, осторожно введенный королем, перестал действовать. Многочисленный класс мелких землевладельцев (лэрдов) привык к мелким вооруженным стычкам. Угнетаемое крестьянство, освобожденное от крепостного состояния в XIV в., никогда не организовывало больших восстаний. Экономически бедное и культурно изолированное шотландское общество было все еще преимущественно средневековым по характеру; шотландское государство было ненамного более безопасным, чем английская монархия после Босворта.

Однако трансплантированная в Англию династия Стюартов преследовала идеалы абсолютистского королевства, которое стало стандартной нормой дворов всей Западной Европы. Яков I, привыкший к стране, в которой территориальные магнаты ассоциировались с законом, а парламент был малозначимым, обнаружил государство, где милитаризм вельмож был уничтожен, однако не сумел понять, что именно парламент был здесь центром власти аристократии. Поэтому намного более развитый характер английского общества того времени создал видимость обманчиво более легкого для него правления. Якобитский режим, высокомерный по отношению к парламенту и не понимающий его, не сделал ни одной попытки успокоить оппозиционно настроенных английских джентри. Экстравагантность двора была соединена с его негибкой внешней политикой, основанной на сближении с Испанией, что было одинаково непопулярным среди подавляющего большинства землевладельческого класса. Доктрина божественных прав монархии развивалась рука об руку с обрядовостью Высокой Церкви. Исключительное судопроизводство использовалось как средство против общего права; продажа монополий и должностей – против отказа парламента в налогах. Однако нежелательное развитие королевского правления в Англии не встречало такого же сопротивления в Шотландии или Ирландии, где местная аристократия задабривалась расчетливым покровительством короля, а Ольстер заселялся за счет массовой колонизации с шотландской

Равнины, чтобы укрепить господство протестантов. Но к концу правления политическое положение монархии Стюартов оказалось опасно изолированным в ее центральном королевстве. Ибо лежащая в основе социальная структура Англии ускользала из-под нее, как только монархия стремилась достичь институциональных целей, которые почти повсюду на континенте были успешно реализованы.

В течение столетия после роспуска монастырей, когда население Англии удвоилось, численность знати и джентри утроилась, а их доля в национальном богатстве непропорционально возросла вместе с особенно заметным подъемом в начале XVII в., когда рентные платежи обогнали рост цен, обогатив весь землевладельческий класс. За столетие после 1530 г. чистый доход джентри, вероятно, вырос в 4 раза¹⁷⁰. Трехчастная система из землевладельца, фермера и сельскохозяйственного рабочего, будущий архетип английской деревни, уже появлялась в наиболее богатых частях сельской Англии. В то же время в Лондоне происходила беспрецедентная концентрация торговли и мануфактур, увеличившись к 1630 г. в 7–8 раз за время от Генриха VIII до Карла I и создав самый крупный среди европейских стран капиталистический город. К концу века Англия уже представляла собой нечто вроде еди-

¹⁷⁰ Stone L. The Causes of the English Revolution 1529–1642. London, 1972. P. 72–75, 131. Эта работа, замечательная своей экономической частью и синтезом, далеко превосходила лучшие исследования эпохи.

ного внутреннего рынка¹⁷¹. Аграрный и торговый капитализм тем самым развивался быстрее, чем в каком-либо ином государстве, кроме Нидерландов, и значительная часть самой английской аристократии – пэрства и джентри – успешно адаптировалась к нему. Вот почему новое политическое укрепление феодального государства больше не соответствовало социальному характеру большей части класса, на который оно в конечном счете должно было опираться. Не было и неотразимой социальной опасности снизу, чтобы связать более тесными узами монархию и джентри. Поскольку не было необходимости в огромной постоянной армии, налогообложение в Англии осталось чрезвычайно низким: вероятно, треть или четверть того, что собиралось во Франции в начале XVII в.¹⁷² Очень малая часть этого приходилась на сельские массы, а приходские бедняки получали значительную помощь из общественных фондов. В результате, после аграрных волнений середины XVI в., в деревне царил относительный социальный мир. Более того, крестьянство было не только объектом более легкого налогообложения, чем где-либо еще, но и более дифференцировано. С приходом торгового импульса в деревню такая стратификация, в свою очередь, сделала возможным и доходным фактически отказ от возделывания доменов в пользу сдачи в аренду земли аристократией и джентри. В итоге происходила консолидация слоя относительно богатых кулаков (йоменов) и большого количества сельскохозяйственных рабочих рядом с общей крестьянской массой. Таким образом, положение в деревнях было более или менее безопасным для знати, которая больше не испытывала страха перед сельскими восстаниями и поэтому не проявляла заинтересованности в централизованной машине насилия в распоряжении государства. В то же время низкий уровень налогов, который способствовал такому аграрному миру, препятствовал появлению крупной бюрократии, побуждавшей укреплять фискальную систему. Поскольку с эпохи Средних веков аристократия сосредоточила в своих руках местные административные функции, монархия никогда не имела профессионального аппарата на местах. Таким образом, стремление Стюарта к развитому абсолютизму с самого начала столкнулось с препятствиями.

В 1625 г. Карл I добросовестно, если в целом и неуместно, взялся за создание более развитого абсолютизма с имеющимися в его распоряжении малообещающими ресурсами. Иная атмосфера вновь пришедшей придворной администрации не помогла монархии: специфическое сочетание коррупции времен Якова и добросовестности Карла – от Бэкингэма до Лода – вошло в особый диссонанс с большинством джентри¹⁷³. Причуды его внешней политики с самого начала правления также ослабили двор: провал английского вмешательства в Тридцатилетнюю войну совпал с начатой по капризу Бэкингэма ненужной и безуспешной войной с Францией. Однако когда этот эпизод был завершен, общее направление династической политики стало относительно логичным. Парламент, который решительно осудил ведение войны и ответственных за это министров, был распущен на неопределенный срок. В последовавшее десятилетие «личного правления» монархия попыталась снова сблизиться с высшей знатью, снова вдохнув жизнь в формальную иерархию рождений и рангов внутри аристократии, даруя привилегии пэрам, поскольку угроза магнатского милитаризма в

¹⁷¹ Hobsbawm E.J. The Crisis of the Seventeenth Century // Crisis in Europe 1560–1660 / T.Aston (ed.). London, 1965. P. 47–49.

¹⁷² Hill C. The Century of Revolution. London, 1961. P. 51. В 1628 г. Людовик XIII собрал в Нормандии налоги, равные по сумме всему фискальному доходу Карла I от Англии. См.: Stone L. Discussion of Trevor-Roper's General Crisis // Past and Present. N 18. November, 1960. P.32.

¹⁷³ Эти аспекты правления Стюартов придают гораздо больше оттенков, но не линий в нарастании политического конфликта начала XVII в. Они вызваны большой бравадой Тревор-Ропера в его богатой дискуссии того времени. См.: Historical Essays. London, 1952. P. 130–145. Ошибочно все же, как он, думать, что проблемы монархии Стюартов могли быть решены за счет большей политической гибкости и компетентности. В действительности, вероятно, ни одна ошибка Стюартов не была такой роковой, как недалёковидная продажа земель их предшественниками – Тюдорами. Это было вызвано не отсутствием значительных личных талантов, а институциональными причинами, которые предотвратили укрепление английского абсолютизма.

Англии была в прошлом. В городах монополии и пожалования были закреплены за высшим слоем городских купцов, которые входили в традиционный городской патрициат. Интересы огромного количества джентри и новых купцов были исключены из королевской политики. Такая же забота проявилась в епископальной реорганизации Церкви, проведенной Карлом I, который восстановил дисциплину и мораль духовенства за счет расширения религиозной дистанции между местными священниками и сквайрами. И все же успехи абсолютизма Стюартов были ограничены идеологическим/ церковным аппаратом государства, которое как в правление Якова I, так и Карла I начало насаждать божественное право и священнический ритуал. Однако экономический/бюрократический аппарат оставался в тисках острого фискального голода. Парламент контролировал право налогообложения и с самого начала правления Якова I сопротивлялся любой попытке обойти его. В Шотландии династия могла действительно увеличивать налоги по своей воле, особенно на города, поскольку здесь не было сильной традиции налогообложения по согласию сословий. В Ирландии драконовская администрация Страффорда отбирала землю и доходы у вновь прибывших после елизаветинского завоевания дворян и впервые сделала остров богатым источником доходов государства¹⁷⁴. Но в самой Англии, где и крылась главная проблема, такие средства были непригодны. Из-за затруднений, созданных распродажей королевских имений Тюдорами, Карл I обращался к любому возможному феодальному и нефеодальному средству в поиске налоговых доходов, способных поддержать увеличившуюся государственную машину без парламентского контроля: возрождение попечительства, штрафы для рыцарства, использование реквизиций для нужд королевского двора, увеличение монополий, раздача почестей. Именно в эти годы впервые продажа должностей стала главным источником королевских доходов, составляя от 30 до 40 %; и одновременно вознаграждение держателей должностей сделалось основной долей в государственных расходах¹⁷⁵. Все эти средства продемонстрировали свою бесполезность: их изобилие противопоставляло землевладельческий класс больше, чем пуританское отвращение, проявляемое к новому двору и Церкви. Важно отметить, что последней возможностью Карла I создать солидную фискальную базу была попытка увеличить единственный традиционный военный налог, который существовал в Англии: корабельные деньги, уплачиваемые портами на содержание флота. В течение нескольких лет он был подорван отказом местных мировых судей, не получавших жалования, защищать его.

Выбор этой схемы и ее судьба косвенно (*en creux*) вскрывают элементы, которые были упущены в английской версии Версаля. Континентальный абсолютизм был построен на своих армиях. По странной иронии, островной абсолютизм мог существовать при своих слабых доходах лишь до тех пор, пока ему не нужно было строить армию. Только парламент мог предоставить для этого ресурсы, а, однажды созданный, он был настроен разрушить власть Стюартов. Но по тем же историческим причинам возмужавшее в Англии политическое сопротивление монархии не обладало готовыми инструментами для вооруженного восстания против нее; оппозиционное дворянство даже не имело точки приложения для конституционного наступления на личное правление короля, поскольку не был созван парламент. Тупиковая ситуация между антагонистами была разрешена в Шотландии. В 1638 г. клерикализм Карла, который уже угрожал шотландской знати отобрать секуляризованные у Церкви земли и десятины, наконец, спровоцировал религиозное восстание из-за навязывания англиканской литургии. Для сопротивления этому объединились шотландские сословия, а их Ковенант, направленный против англиканства, получил немедленную материальную поддержку. Поскольку в Шотландии ни аристократия, ни джентри не были

¹⁷⁴ Значение режима Страффорда в Дублине и реакции, которую он вызвал в новоанглийском землевладельческом классе, обсуждается в: *Ranger T. Stafford in Ireland: a Revaluation//Crisis in Europe 1560–1660. P. 271–293.*

¹⁷⁵ *Aylmer G. The King's Servants. The Civil Service of Charles I. London, 1961. P. 248.*

демилитаризованы, более архаичная социальная структура родного Стюартам государства сохранила воинственные связи позднесредневековой политической системы. Ковенант смог за несколько месяцев собрать значительную полевую армию, чтобы противостоять Карлу I. Магнаты и лэрды сформировали и вооружили своих арендаторов, города ради этого организовали сбор денежных средств, ветераны-наемники Тридцатилетней войны обеспечили профессиональный офицерский корпус. Командование армией, поддерживаемой пэрами, было доверено генералу, вернувшемуся со шведской службы¹⁷⁶. В Англии монархия не могла собрать равных им сил. Поэтому есть логика в том, что именно шотландское вторжение 1640 г. положило конец личному правлению Карла I. Английский абсолютизм понес заслуженное наказание за свое пренебрежение к армии. Его отход от правил позднесредневекового государства только предоставил негативный аргумент в пользу ее необходимости. Парламент, созданный в чрезвычайных обстоятельствах (*in extremis*) королем, чтобы разобраться с поражением от шотландцев, приступил к ликвидации всех приобретений монархии Стюартов, провозгласив возвращение к первоначальным конституционным рамкам. Год спустя вспыхнул католический мятеж в Ирландии¹⁷⁷. Лопнуло второе слабое звено стюартовского мира. Борьба за контроль над английской армией, которую надо было собрать для подавления ирландского восстания, привела парламент и короля к гражданской войне. Английский абсолютизм был втянут в кризис из-за аристократического партикуляризма и кланового отчаяния на его периферии – силами, которые исторически далеко отстали от него. Но он оказался подрубленным в самом центре коммерциализованным джентри, капиталистическим городом, ремесленниками и йоменами – силами, толкающими за его пределы. Прежде чем он достиг возраста зрелости, английский абсолютизм был свергнут буржуазной революцией.

¹⁷⁶ Полковники армии представляли знать, капитаны – лэров, рядовые были «крепкими молодыми крестьянами», бывшими их арендаторами. См.: *Donaldson G.* Scotland: James V to James VII. P. 100–102. Александр Лесли, командующий армией Ковенанта, был раньше губернатором династии Ваза в Штральзунде и Франкфурте-на-Одере. Вместе с ним и его коллегами европейский опыт Тридцатилетней войны пришел на родину в Британию.

¹⁷⁷ Возможно, хотя и не доказано, что Карл I мог играть невольную роль повода к староирландскому восстанию в Ольстере из-за его тайных переговоров со староанглийской знатью Ирландии в 1641 г. См.: *Clark A.* The Old English in Ireland. London, 1966. P. 227–229.

6. Италия

Абсолютистское государство возникло в эпоху Ренессанса. Значительная часть используемых им методов — как административных, так и дипломатических — впервые появились в Италии. Поэтому неизбежно возникает вопрос: почему сама Италия так и не стала национальным абсолютистским государством? Понятно, конечно, что универсалистские средневековые институты папства и Империи сдерживали развитие обычной территориальной монархии в Италии и Германии. В Италии папство противостояло любой попытке территориального объединения полуострова. Однако этого само по себе было бы недостаточно, чтобы предотвратить такой исход. Папство в течение длительного времени оставалось слабым. Могущественный французский король вроде Филиппа Красивого мог без труда, применив простую и наглядную вооруженную силу, арестовать Папу в Ананьи, а потом пленить его в Авиньоне. Отсутствие подобной господствующей силы в Италии позволяло папству политически маневрировать. Решающую причину отсутствия национального абсолютизма следует искать в другом. Она, скорее, лежит в преждевременном развитии коммерческого капитала в городах Северной Италии, которое предотвратило появление мощного организованного феодального государства на национальном уровне. Именно богатство и жизненные силы Ломбардии и Тосканы нанесли поражение самому серьезному претенденту на установление единой феодальной монархии, которая могла бы обеспечить основу для более позднего абсолютизма, — Фридриху II, пытавшемуся в XIII в. расширить свое достаточно развитое баронское государство за пределы своей базы на юге.

Император располагал возможностями для реализации своих проектов. Южная Италия была той частью Западной Европы, в которой пирамидальная феодальная иерархия, внедренная норманнами, соединилась с наследием византийского имперского самодержавия. Королевство Сицилия попало в тяжелое положение в последние годы норманнского правления, когда местные бароны взяли власть и королевские полномочия в провинциях. Фридрих II сообщил о своем появлении в Южной Италии, обнародовав в 1220 г. законы Капуи, которые усиливали централизованный контроль над Королевством (*Regno*). Королевские представители сместили мэров городов, ключевые замки были отобраны у знати, наследование феодальных владений было передано под монархический надзор, раздача земель королевского домена была отменена, а феодальный оброк на содержание морского флота был восстановлен¹⁷⁸. Законы Капуи были установлены с помощью меча; они были дополнены десятилетие спустя в Мельфийских конституциях 1231 г., которые кодифицировали правовую и административную систему королевства, подавив последние остатки городской автономии и крепко прижав церковных магнатов. Знать, прелаты и города были подчинены монарху с помощью сложной бюрократической системы, включавшей корпус королевских юстициариев, которые исполняли роль специальных уполномоченных и судей в провинциях, работавших с письменными документами, — официальные должностные лица, подвергавшиеся периодической ротации, чтобы предотвратить их сращивание с местными сеньориальными интересами¹⁷⁹. Число замков было увеличено, чтобы наводить страх на мятежные города и лордов. Мусульманское население западной Сицилии, которое до тех пор держалось в горах, являясь постоянной «занозой в боку» Норманнского государства, было покорено и переселено в Апулию: так появилась арабская колония в Лучере, впредь снабжавшая Фридриха уникальными профессиональными исламскими отрядами для его кампаний в Италии. В экономическом плане Королевство было не менее рационально организован-

¹⁷⁸ См. Masson G. Frederick II of Hohenstaufen. London, 1957. P. 77–82.

¹⁷⁹ О юстициариях см.: Kantorowicz E. Frederick the Second. London, 1931. P. 272–279.

ным. Были отменены внутренние пошлины и введена жесткая таможенная служба. Государственный контроль над внешней торговлей зерном позволял получать огромные прибыли от земель короны, бывшей крупнейшим на Сицилии производителем пшеницы. Важные торговые монополии и более регулярные земельные налоги приносили существенные финансовые доходы; был даже отчеканен запас золотых монет¹⁸⁰. Основательность и процветание этого оплота Гогенштауфенов на юге позволили Фридриху II предпринять попытку создания унитарного имперского государства на территории всего полуострова.

Требую всю Италию в качестве своего наследия и призвав большинство разрозненных феодалов севера на свою сторону, император захватил Марке и вторгся в Ломбардию. На короткий период его амбиции, казалось, были на грани реализации: в 1239–1240 гг. Фридрих создал проект будущего административного устройства Италии как единого королевского государства, разделенного на провинции, управляемые генеральными викариями (*vicars-generals*) и генерал-капитанами (*captains-generals*), аналогичными сицилийским юстициариям, назначаемым императором из его апулийского окружения¹⁸¹. Превратности войны не допустили стабилизации этой структуры, но ее логика была безошибочной. Даже последние неудачи и смерть императора не уничтожили дело Гибеллина. Его сын Манфред, незаконнорожденный и не имевший императорского титула, вскоре смог возобновить стратегическое доминирование Гогенштауфенов на полуострове, разбив флорентийских гвельфов при Монтаперти; несколько лет спустя его армии угрожали захватом самому Папе Римскому у Орвьето, предвосхищая будущее нападение французов на Ананьи. И все же временные успехи династии оказались иллюзорными; в длительных войнах гвельфов и гибеллинов линия Гогенштауфенов в конечном счете была побеждена.

Папство формально стало победителем в этом споре, оркестрируя борьбу против имперского «антихриста» и его потомков. Но идеологическая и дипломатическая роль следующих Пап – Александра III, Иннокентия IV, Урбана IV – в атаках на власть Гогенштауфенов в Италии никогда не соответствовала реальной политической и военной силе папства. На протяжении долгого времени папский престол испытывал недостаток даже в скромных административных ресурсах, которые были у средневековых княжеств: только в XII в., после борьбы за инвеституру с Империей в Германии, папство приобрело нормальную судебную машину, сопоставимую с существовавшей в светских государствах той эпохи, во главе с конституционной Римской курией¹⁸². После этого папская власть развивалась по двум любопытно расходящимся путям, в соответствии с присущим ей церковным и светским дуализмом. Внутри единой Церкви папство постепенно выстраивало самодержавную централистскую власть, prerogatives которой значительно превосходили таковые любого смертного монарха. Полнота власти, предоставленная Папе, была совершенно не ограничена обычными феодальными сдержками – сословным представительством или советами. Все церковные бенефиции повсюду в христианском мире осуществлялись под его контролем; сделки по закону проходили в его судах; был успешно установлен общий подоходный налог на духовенство¹⁸³. В то же время, однако, папство как итальянское государство оставалось крайне слабым и неэффективным. Огромные усилия были вложены Папами в попытку объединить и расширить Патримоний Св. Петра в Центральной Италии. Но средневековое папство потерпело неудачу в попытке установить безопасный и надежный контроль даже над небольшим регионом, находящимся под его номинальным сюзеренитетом. Маленькие городки на холмах Умбрии и Марке энергично сопротивлялись папскому вмешательству в их управление,

¹⁸⁰ Masson. Frederick II of Hohenstaufen. P. 165–170.

¹⁸¹ Kantorowicz E. Frederick the Second. P. 487–491.

¹⁸² Barraclough G. The Mediaeval Papacy. London, 1958. P. 93–100.

¹⁸³ Ibid. P. 120–126.

в то время как сам город Рим часто становился источником проблем и нелояльности¹⁸⁴. Не было создано жизнеспособной бюрократии для управления Папским государством, внутреннее состояние которого на протяжении длительного периода отличалось нестабильностью и анархией. Налоговые поступления от Патримония Св. Петра составляли всего лишь 10 % от общего дохода папства; стоимость его поддержания и защиты была на протяжении большей части времени значительно больше, чем доходы, которые он приносил. Военная служба, которой были обязаны вассальные Папе города и территории, была также недостаточна для обеспечения оборонных нужд¹⁸⁵. С финансовой и военной точек зрения Папское государство, в качестве итальянского княжества, не могло поддерживать свое существование. В случае столкновения один на один с Королевством на юге оно не имело никаких шансов на успех.

Основная причина неудачи движения Гогенштауфенов по объединению полуострова лежала в другой плоскости – в решающем экономическом и социальном превосходстве Северной Италии, численность населения которой вдвое превышала население Юга и где находилось подавляющее большинство городских центров торговли. В Королевстве Сицилия было всего три города с населением более 20 тысяч жителей, а на Севере таких городов было более 20¹⁸⁶. Экспорт зерна, составлявший основу благосостояния Юга, на самом деле, был косвенным признаком коммерческого господства Севера. Именно процветающие коммуны Ломбардии, Лигурии и Тосканы импортировали зерно в результате развитого там разделения труда и концентрации населения, в то время как излишки в Меццоджорно были, наоборот, признаком слабозаселенной сельской местности. Таким образом, ресурсы коммун, хотя они часто были разделены, всегда были значительно больше тех, которые император был в состоянии мобилизовать в Италии, и в то же время самому их существованию как автономных городов-республик угрожала перспектива создания единой островной монархии. Первая попытка Гогенштауфенов установить имперский суверенитет в Италии, нападение Фридриха I, перешедшего Альпы со стороны Германии в XII в, была блестяще отражена Ломбардской лигой. Эта великая победа была одержана ее городским народным ополчением над армией Барбароссы у Леньяно в 1160 г. С перемещением династической основы власти

Гогенштауфенов из Германии на Сицилию и насаждением централизованной монархии Фридриха II в землях Южной Италии соответственно возросла опасность королевского и сеньориального поглощения коммун. И вновь города Ломбардии, ведомые Миланом, остановили продвижение императора на севере, несмотря на поддержку с флангов его феодальных союзников Савойи и Венеции. После его смерти восстановленные Манфредом позиции гибеллинов наиболее эффективно были оспорены в Тоскане. Гвельфские банкиры Флоренции, изгнанные после Монтаперти, стали финансовыми архитекторами окончательного крушения дела Гогенштауфенов. Их крупные ссуды – около 200 тысяч ливров, – сделали возможным Анжуйское завоевание Королевства¹⁸⁷; в то же время в битвах при Беневенто и Тальякоццо флорентийская кавалерия решила исход сражений в пользу французских армий. В длительной борьбе против призрака объединенной итальянской монархии вклад папства сводился к регулярным анафемам в адрес врага; именно коммуны предоставляли денежные средства и – до самого конца – большую часть войск. Города Ломбардии и Тосканы оказались достаточно сильны, чтобы предотвратить территориальную перегруппировку на фео-

¹⁸⁴ См. *Waley D. The Papal State in the Thirteenth Century*. London, 1961. P. 68–90, описывает характер и результаты этого городского непокорства.

¹⁸⁵ *Waley D. The Papal State in the Thirteenth Century*. P. 273, 275, 295–296.

¹⁸⁶ *Procacci G. Storia degli Italiani*. Vol. I. Bari, 1969. N. 34.

¹⁸⁷ *Jordan E. Les Origines de la Domination Angevine en Italie*. Vol. II. Paris, 1909. P. 547, 556. Церковь была вынуждена заложить значительную часть своей собственности в Риме, чтобы получить необходимые денежные суммы от тосканских и римских банкиров в виде займов для своего французского союзника.

дальносельскохозяйственной основе. С другой стороны, они не смогли достичь какого-либо единства на полуострове самостоятельно: торговый капитал в то время не имел возможности управлять общественной формацией национального масштаба. Таким образом, хотя Ломбардская лига успешно защищала Север от имперских вторжений, она была неспособна победить феодальный Юг: Королевство Сицилия вынуждены были атаковать французские рыцари. Достаточно логично, что не города Тосканы или Ломбардии унаследовали Юг, а анжуйская знать – инструмент победы городов, присвоивший ее плоды. Впоследствии восстание Сицилийской вечерни (*Sicilian Vespers*) против французского правления покончило с единством самого старого Королевства. Баронские территории Юга были разделены между враждующими анжуйским и арагонским претендентами в хаотичной схватке, окончательный результат которой уничтожил перспективу господства Юга в Италии. Папство, бывшее в то время простым заложником Франции, было вывезено в Авиньон, покинув полуостров на полвека.

Города Севера и Центра были предоставлены самостоятельному политическому и культурному развитию. Одновременное ослабление Империи и папства сделали Италию слабым звеном западного феодализма; с середины XIV до середины XVI в. города между Альпами и Тибром обобщили революционный исторический опыт, который получил название Ренессанса – возрождения классической цивилизации античности, после промежуточного периода темного «Средневековья». Радикальный разворот во времени, содержащийся в этом определении, противоречивший любой эволюционной и религиозной хронологии, обеспечил основу категориальных структур европейской историографии: эпоха, которую потомки рассматривали как основную линию, отделяющую от прошлого, сама провела границы, которые отделили ее от предшествовавшей ей, и разграничила отдаленное прошлое и непосредственное, что было ее уникальным культурным достижением. До тех пор не существовало никакого ощущения дистанции между Средневековьем и античностью; оно всегда рассматривало классическую эпоху, как свое собственное продление в прошлое, в еще не спасенный, дохристианский мир. Ренессанс открыл себя вместе с новым, интенсивным осознанием разрыва и утраты¹⁸⁸. Античность была в далеком прошлом, отрезанной от современности мраком Средних веков, и все же была значительно развитее, чем грубое варварство, которое преобладало все последующие столетия. На пороге новой эпохи Петрарка воззвал к будущему: «Легкий сон забвения не будет длиться вечно: после того как темнота рассеется, наши внуки вернутся в чистое сияние прошлого». Острое осознание длительного слома и отступления, случившегося после падения Рима, смешалось с твердым намерением вновь достичь образцовых стандартов древних. Восстановление античного мира было обновленным идеалом нового времени. Итальянский Ренессанс, таким образом, явился временем сознательного возрождения и имитации одной цивилизацией другой, в широком спектре проявлений общественной и культурной жизни, у которого не было примера и продолже-

¹⁸⁸ «Средневековье оставило античность непогребенной и поочередно оживляло и изгоняло ее труп. Ренессанс стоял плача над ее могилой и пытался воскресить ее душу. И однажды, в благоприятный момент успех был достигнут», – писал Э. Панофский в своей книге «Ренессанс и „ренессансы“ в искусстве Запада» (*Panofsky E. Renaissance and Renascences in Western Europe Art. London, 1970, P. 113*); это единственная большая работа по Возрождению, достойная своего предмета. В общем, современная литература по итальянскому Ренессансу удивительно ограниченная и скучная: как если бы масштаб замысла пугал историков, которые брались за него. Диспропорция между объектом и имеющимися о нем исследованиями, конечно, нигде более не очевидна, чем в наследии Маркса и Энгельса: безразличные к визуальным искусствам (и музыке), никто из них даже в мыслях не затрагивал проблемы, которые ставит перед историческим материализмом Ренессанс, как всеохватывающий феномен. Книга Панофского сосредоточена исключительно на эстетике; экономическая, социальная и политическая история этого периода остается вне нее. Ее качество и метод, однако, устанавливают планку для работы, которая должна быть взята по всему этому полю. Сверх всего, Панофский рассмотрел более серьезно, чем любой другой ученый, ретроспективные отношения Ренессанса и античности, через которые эпоха определяла себя: классический мир являлся полюсом для сравнения, а не просто неопределенной терминологией в его описании. В отсутствие этого измерения, политическая и экономическая история итальянского Ренессанса должна быть описана с соответствующей глубиной.

ния в истории. Римское право и римские магистраты уже всплыли из забвения в поздних средневековых коммунах: римская собственность оставила свою печать на всех экономических связях городов Италии, в то же время латинизированные консулы сменили епископальную администрацию в качестве правителей. Плебейские трибуны вскоре стали образцом для «народных капитанов» в итальянских городах. Появление Ренессанса принесло с собой новые науки – археологию, эпиграфику и критику текстов для освещения классического прошлого; однако внезапно эти подходы расширились до подражания античности в невероятных, взрывоопасных масштабах. Архитектура, живопись, скульптура, поэзия, история, философия, политическая и военная теория соперничали в том, чтобы вернуть свободу или красоту работе, однажды отправленной в забвение. Церкви, построенные Альберти, стали результатом изучения им Витрувия; Мантена рисовал, подражая Апеллесу; Пьеро ди Козимо писал триптихи, вдохновленный Овидием, оды Петрарки опирались на Горация; Гвиччардини учился иронии у Тацита; спиритуализм Фичино происходил от Плотина; беседы Макиавелли были комментариями к Ливию, а его диалоги о войне – обращением к Вегетию.

Цивилизация Возрождения в Италии была настолько яркой и жизненной, что до сих пор кажется истинным повторением античности. Их общие исторические установки, опирающиеся на систему городов-государств, обеспечивали объективную основу для иллюзий о перевоплощении. Параллели между расцветом городов в период классической античности и в эпоху итальянского Ренессанса впечатляли. Оба периода изначально были результатом деятельности автономных городов-республик, созданных общественно сознательными гражданами. В тех и других на начальном этапе доминировала знать, там и там большая часть первых граждан владела земельной собственностью в сельской местности, окружавшей город¹⁸⁹. Те и другие были интенсивными центрами товарного обмена. То же самое море обеспечивало основные торговые пути¹⁹⁰. Оба требовали военной службы от своих граждан, в кавалерии или пехоте согласно имущественному цензу. Даже некоторые политические особенности греческих полисов имели схожие элементы в итальянских коммунах: очень высокий процент граждан, занимавших временные посты в государстве, или использование жеребьевки для избрания судей¹⁹¹. Все эти общие характеристики способствовали своего рода наложению одной исторической формы на другую. На самом деле, конечно, социально-экономическая природа античных и ренессансных городов-государств была глубоко различна. Средневековые города, как мы видели, были динамичными анклавами внутри феодального способа производства, структура раздробленного суверенитета которого позволяли им существовать; они находились в постоянных трениях с сельской местностью, тогда как античные города были, по большей части, ее символическим продолжением. Итальянские города начинали как торговые центры, возглавляемые мелкими дворянами и заселенные полу-крестьянами, часто совмещавшими сельские и городские профессии, обработку почвы с ремеслами. Но они быстро сформировали модель, совершенно отличную от приня-

¹⁸⁹ Д. Уэйли (*Waley D. The Italian City-Republics. London, 1969. P. 24*) рассчитал, что в большинстве городов в конце XIII в. примерно % городских домашних хозяйств владели землей. Следует отметить, что эта модель была исключительно итальянской: ни германские, ни фламандские города той же эпохи не имели сопоставимого числа сельских собственников. Аналогично, во Фландрии и в Рейнской области не было реальных эквивалентов *contado*, контролируемых городами Ломбардии и Тосканы. Города Северной Европы всегда имели более урбанистический характер. Острую дискуссию о причинах неудачи фламандских городов в попытках присоединить свои сельские территории см.: *Nicholas D. Towns and Countryside: Social and Economic Tension in Fourteenth Century Flanders // Comparative studies in Society and History. Vol. X. № 4. 1968. P. 458–485.*

¹⁹⁰ Сравнительная стоимость перевозок соответствовала тоннажу морского транспорта. В XV в. грузы могли транспортироваться от Генуи до Саутгемптона за немногим более чем 1/5 цены его перевозки по суше на короткую дистанцию от Женеви до Асти: *Bernard J. Trade and Finance in the Middle Ages 900-1500. London, 1971. P. 46.*

¹⁹¹ Уэйли (*Waley D. The Italian City-Republics. P. 83–86, 63–64, 107–109*) предполагает, что, возможно, 1/3 граждан в типичной итальянской коммуне занимали какую-нибудь должность в любом данном году.

той их античными предшественниками. Торговцы, банкиры, фабриканты и юристы формировали патрицианскую элиту городов-республик, в то время как основную массу граждан составляли ремесленники; напротив, в античных городах доминирующим классом всегда была землевладельческая аристократия, а большая часть граждан были фермерами-йоме-нами или лишенными имущества плебеями, и были также рабы, составлявшие многочисленный нижний класс непосредственных производителей, не имевших гражданства¹⁹².

Для средневековых городов было просто неестественным использование рабского труда в домашнем и сельском хозяйстве¹⁹³; они обычно запрещали даже крепостничество внутри своих территорий. Вся экономическая ориентация двух городских цивилизаций была, таким образом, в ключевых отношениях диаметрально противоположной. В то время как обе представляли собой пункты товарного обмена, итальянские города были также в основе своей центрами производства, внутренняя организация которых базировалась на ремесленных гильдиях, тогда как античные города всегда в первую очередь были центрами потребления, сосредоточенного в клановых или территориальных ассоциациях¹⁹⁴. Разделение труда и технический уровень мануфактурного производства в ренессансных городах — текстильного и металлургического — были значительно более развиты, чем в античности, так же как и морской транспорт. Коммерческий и банковский капитал всегда хромал в классическом мире вследствие отсутствия необходимых финансовых институтов, которые гарантировали бы его безопасное накопление; теперь, с появлением акционерных компаний, векселей и двойных бухгалтерских счетов, изобретением государственного займа, неизвестного античным городам, увеличивал и государственные доходы, и инвестиционные рынки сбыта для городских рантье.

Наконец, полностью отличные друг от друга базы рабского и феодального способов производства были, очевидно, диаметрально противоположны в отношениях между городом и деревней. Города античного мира формировали интегрированное гражданское и экономическое единство со своей сельской округой. Муниципии включали как городской центр, так и его аграрную периферию, а юридическое гражданство было общим для обоих. Рабский труд связывал производственную систему каждого, и не существовало особой городской экономической политики как таковой: город, по существу, функционировал просто как агломерация потребителей аграрной продукции и земельной ренты. Итальянские города, напротив, были четко отделены от своей сельской местности: сельский округ (*contado*) был типичной подданной территорией, чьи жители не имели гражданских прав в государстве. Его название стало основой для высокомерного прозвища крестьян — *contadini* (*деревенщина*). Коммуны противодействовали некоторым фундаментальным институтам аграрного феодализма: вассалитет был часто специально запрещен в черте городов; крепостничество, в деревнях контролируемых ими, было отменено. В то же время итальянские города систематически эксплуатировали свои сельские округа для получения собственной прибыли и поставок, облагая налогом зерно и пополняя за счет этого свои запасы, фиксируя цены и

¹⁹² Эти социальные антитезы были впервые систематически проанализированы Вебером в *Economy and Society*. Vol. III. P. 1340–1343. Несмотря на колебания Вебера в оценке взаимоотношений между городом и деревней в итальянских республиках, весь раздел, озаглавленный «Античная и средневековая демократия», который завершает работу, остается лучшей и наиболее оригинальной дискуссией по этому вопросу на сегодняшний день. Последующие исследования, в целом, не отличались сопоставимыми успехами в синтезе.

¹⁹³ Заморские колонии Генуи и Венеции в Восточном Средиземноморье использовали рабский труд на сахарных плантациях на Крите, или на квасцовых шахтах Фокеи; и часто в этих городах домашними слугами были рабы — по большей части женщины, в противоположность тому, что было в античную эпоху. В этом смысле, там даже было некоторое возобновление рабства, но оно никогда не приобрело экономического значения на территории Италии. Для изучения природы и границ феномена смотри: *Verlinden C. The Beginning of Modern Colonization*. Ithaca, 1970. P. 26–32.

¹⁹⁴ *Weber. Economy and Society*. III. P. 1343–1347.

навязывая массу излишних правил и директив подчиненному сельскохозяйственному населению¹⁹⁵.

Подобная антиаграрная политика были неотъемлемой частью деятельности городов-республик периода Ренессанса, чей экономический *дирижизм* был бы чуждым для их античных предшественников. Основным способом расширения классического города была война. Добыча сокровищ, земли и рабочей силы были теми экономическими целями, которые могли ставиться в рамках рабовладельческого способа производства, и внутренняя структура греческих и римских городов, в своем большинстве, вытекала из этого: военная профессия гоплитов или *assidui* была центральной для всей их муниципальной конституции. Военная агрессия в отношении друг друга была постоянным явлением и для итальянских коммун, но она никогда не достигала сравнимого значения. Государство не нуждалось в военном определении гражданства, потому что конкуренция в торговле и производстве, сопровождавшаяся и проводившаяся в жизнь внеэкономическим принуждением, «издержки на защиту» в ту эпоху¹⁹⁶ стали формулироваться как самостоятельная экономическая цель сообщества: рынки и займы были важнее пленников, грабеж был второстепенным по отношению к монополизации. Города итальянского Ренессанса, как показала их судьба, были сложными торговыми и промышленными организмами, чьи возможности в сухопутных или даже военно-морских сражениях были относительно ограниченными.

Эта огромная социально-экономическая разница, конечно, нашла свое отражение и в особенностях культурного и политического процветания, где города-государства античности и Ренессанса казались наиболее схожими. Свободный ремесленнический фундамент городов Возрождения, где ручной труд в гильдиях не был испорчен социальной деградацией рабов, создал цивилизацию, в которой пластические и визуальные искусства (живопись, скульптура и архитектура) занимали абсолютно доминировавшее положение. Скульпторы и художники сами были организованы в гильдии и сначала довольствовались срединной социальной позицией, аналогичной той, которую занимали ремесленники; однако постепенно они достигли неизмеримо большей славы и престижа, чем их греческие и римские предшественники. Девять муз античного мира вообще не включали визуальных искусств¹⁹⁷. Чувственная фантазия была высшей сферой Ренессанса, принеся такая художественное богатство и роскошь, что они превзошли саму античность, к гордости современников. В то же время интеллектуальные и теоретические достижения ренессансной культуры в Италии были значительно более ограниченными. Литература, философия и наука, расположенные в порядке убывания их вклада в достижения эпохи, не создали произведений, сравнимых с творениями античной цивилизации. Рабская основа классического мира, разделившая ручной и умственный труд значительно радикальнее, чем это когда-либо делала средневековая цивилизация, создала праздный землевладельческий класс, весьма отличавшийся от *делового* патрициата городов-государств Италии. Слова и числа, в их абстракции, были более близкими античной Вселенной; образы взяли верх при ее возрождении. Литературный и философский «гуманизм», в его светских и академических запросах, был прикован к хрупкому и узкому кругу интеллектуальной элиты в эпоху итальянского Ренессанса¹⁹⁸; дебют

¹⁹⁵ Waley D. The Italian City-Republics. R 93–95.

¹⁹⁶ Понятие «протекционистская арендная плата» было введено Фредериком Леном в: Lane F. C. Venice and History. Baltimore, 1966. P. 373–428, для того чтобы понять экономические последствия типичного сплава войны и бизнеса, характерного для ранних торговых и колониальных предприятий итальянских городов-государств – где, с одной стороны, агрессивные набеги и пиратство и, с другой стороны, охрана и сопровождение были неотделимы от торговой практики этого периода.

¹⁹⁷ Только музыка и поэзия были допущены в их компанию, которую иначе украшали бы сегодня, главным образом, то, что мы считаем естественными или гуманитарными науками. См. известную дискуссию об изменении порядка и определения искусства в: Kristeller P. O. Renaissance Thought. New York, 1965. P. 168–189.

¹⁹⁸ «Два немца, которые принесли печать в Италию в 1465 г. и затем двумя годами позже в Рим, стали банкротами в

науки был еще впереди. Эстетическая жизненность городов имела значительно более глубокие гражданские корни и пережила и то и другое: Галилео умер в одиночестве и тишине, в то время как Бернини прославил столицу и двор, который изгнал его.

Политическая эволюция городов эпохи Ренессанса еще сильнее отклонилась от их античных прототипов, чем их культурная конфигурация. До определенного момента можно было заметить формальное сходство между ними. После уничтожения епископального управления – предыстория, которую можно сравнить со свержением королевской власти в эпоху античности, – итальянские города находились во власти землевладельческой аристократии. Возникшие там консульские режимы вскоре уступили место олигархическому правительству и власти подеста (*podesta*), которую тогда атаковали преуспевающие плебейские гильдии, создавшие свои собственные гражданские контринституты. В конце концов, вышедший слой гильдейских мастеров, нотариусов и купцов, которые возглавляли борьбу *пополанов* (*popolo*), объединялся со стоявшей над ними городской знатью, чтобы сформировать единый муниципальный блок привилегированных и сильных для подавления или манипуляции подчиненными им массами ремесленников. Точная форма и состав участников этой борьбы различались от одного города к другому, и политическая эволюция разных коммун могла сократить или удлинить эту последовательность. В Венеции с самого начала торговый патрициат присвоил плоды восстания ремесленников против старой аристократии и блокировал дальнейшее политическое развитие жестким сокращением ее рядов: ограничение Большого совета (*Серрата*) 1297 г. предотвратило появление в городе *пополанов*. С другой стороны, во Флоренции голодающие наемные рабочие, несчастный пролетариат, стоящий ниже класса ремесленников, восстал против консервативного гильдейского управления в 1378 г., но был сокрушен. Однако в большинстве городов появлялись городские республики с широким избирательным правом, которые, фактически, управлялись ограниченными группами банкиров, предпринимателей и землевладельцев, чьим общим знаменателем было уже, в значительной степени, не происхождение, а богатство, наличие оборотного и основного капитала. Итальянская последовательность от епископов к консулам и от *подеста* к *пополанам*, а также «смешанная» конституционная система, бывшая итогом этого развития, очевидно, напоминали до некоторой степени переход от монархии к аристократии и от олигархии к демократии, или трибунату, и их «смешанные» результаты в античном мире. Но существовала одна очевидная и критическая разница между этими двумя последовательностями. В античности тирании обычно располагались между аристократическим и народным государственным устройствами, как переходные системы для разрастания общественной основы государства: они были прелюдией для расширения права на участие в голосовании и свободы народных собраний. В эпоху Ренессанса, наоборот, тирании завершали весь парад гражданских форм управления: синьории были последним этапом эволюции городов-республик и символизировали их окончательное сползание к аристократическому авторитаризму.

Конечный результат развития античных и ренессансных городов-государств больше, чем что-либо еще в их истории, показывает глубину пропасти между ними. Городские республики античной эпохи смогли породить универсальные империи, без серьезных разрывов в социальной преемственности, потому что территориальный экспансионизм был естественным продолжением их аграрных и военных стремлений. Сельская местность всегда была бесспорной осью их существования, поэтому они, в принципе, были совершенно готовы к

1471 г. просто потому, что там не было рынка для их изданий латинской классики... Даже когда Ренессанс был на пике своего развития, его идеалы были поняты и оценены лишь очень незначительным меньшинством». Weiss R. The Renaissance Discovery of Antiquity. Oxford, 1969. P. 205–206. Грамши, конечно, был сильно заинтригован таким дефектом культурного прошлого его страны – но, как и Маркс и Энгельс до него, плохо разбирался в пластических искусствах и рассматривал Ренессанс главным образом как утонченное, духовное просвещение.

еще большему ее присоединению, их экономический рост опирался на успешное ведение войны, которое всегда было центральной гражданской целью. Военное завоевание, таким образом, предоставляло сравнительно прямой переход от республиканского к имперскому государству, и последнее могло показаться чем-то похожим на предопределенный финал. Города эпохи Ренессанса, напротив, всегда были отделены от сельской местности: их движущие силы были сконцентрированы в самой городской экономике, чье отношение к своей сельской среде было структурно-антагонистическим. Появление синьорий – княжеских диктатур с аграрными корнями, – таким образом, не привело к дальнейшему политическому и экономическому росту. Скорее они завершали эпоху успеха итальянских городов. У республик эпохи Ренессанса не было шанса на удачное имперское завоевание и объединение. Именно потому, что они были настолько, по своей сути, городскими, что не могли управлять целой феодальной социальной формацией, в которой все еще доминировала сельская местность. Для них не могло быть никакого экономического стимула к политическому расширению в масштабе всего полуострова. Более того, их вооруженные силы были совершенно непригодными для решения подобной задачи. Появление синьорий, как институциональной формы, было предвестием их будущего тупика.

Северная и Центральная Италия сформировали исключительную зону внутри европейской экономики позднего Средневековья – наиболее развитый и процветающий регион на Западе, как мы видели. Апогеем коммун, в XIII в., был период мощного городского бума и демографического роста. Это раннее лидерство дало Италии особую позицию в последующем экономическом развитии континента. Как любая другая западноевропейская страна, она была разорена вследствие сокращения численности населения и депрессии XIV в.: торговый упадок и крах многих банков снизил уровень промышленного производства и, вероятно, стимулировал инвестиции в строительство, перевод капитала в расходные статьи и недвижимость. Путь итальянской экономики в XV в. менее ясен¹⁹⁹. Резкое падение выпуска шерстяных тканей теперь было возмещено за счет переключения на производство шелка, хотя оценка компенсационных эффектов остается трудной. Возобновившийся рост населения, производства и экономической активности все равно не достигал максимального уровня XIII в. Однако кажется вероятным, что города-государства пережили общий кризис европейского феодализма лучше, чем любая другая область на Западе. Жизнеспособность городского и относительная современность аграрного секторов, по крайней мере в Ломбардии, вероятно, позволили Северной Италии вновь сообщить импульс экономике приблизительно на полстолетия раньше, чем всей остальной Западной Европе, – к 1400 г. Сейчас, тем не менее, представляется, что самый быстрый демографический рост наблюдался в сельской местности, а не в городах, ведь финансовые инвестиции все более ориентировались на землю²⁰⁰. Производство становилось более изощренным, со смещением к нему элитных товаров; шелковая и стеклотканная промышленность были среди наиболее динамичных сек-

¹⁹⁹ Мнения ученых об экономическом развитии Италии в XV в. сильно разделяют ся. Лопес и Мискиминот утверждали, что Ренессанс был, по существу, эпохой депрессии: среди других показателей, капитал банка Медичи во Флоренции в XV в. составлял лишь половину того, что было у Перуджи за столетие до этого; в то же время доходы генуэзского порта в начале XVI в. были все еще ниже тех, которые порт получал в последней декаде XIII в. Чиполла поставил под сомнение обоснованность общих выводов, основанных на таких доказательствах, и предположил, что подушное производство в Италии, вероятно, возросло вместе с международным разделением труда. Для ознакомления с дискуссией см.: *Lopez R. Hard times and Investment in Culture*, перепечатано из: A. Molho (ed.). *Social and Economic Foundations of the Renaissance*, New York, 1969. P. 95 – 116; *Lopez R. and Miskimin H. The Economic Depression of the Renaissance* *Economic History Review*. xiv. № 3. April 1962. P. 408–426; *Cipolla C. Economic Depression of the Renaissance? // Economic History Review*. XIV. № 3. April 1964. P. 519–524, с ответами Лопеса и Мискимина (P. 525–529). Более свежие изыскания, охватывающие последнюю часть XV и начало XVI веков, представляют, в общем, оптимистический отчет об итальянской торговле, финансах и промышленности: *haven P. Renaissance Italy 1464–1534*. London, 1966. P. 35 – 108.

²⁰⁰ *Cipolla C. M. The Trends in Italian Economic History in the Later Middle Ages // Economic History Review*. II. № 2. 1949. P. 181–184.

торов городского производства в эту эпоху. Кроме того, в течение последующих ста лет возрождавшийся европейский спрос поддерживал экспорт итальянских предметов роскоши на высоком уровне. И все же существовали неизбежные ограничения для торгового и промышленного процветания городов.

Гильдейская организация, наличием которой города эпохи Ренессанса отличались от городов античности, сама являлась препятствием для развития капиталистической промышленности в Италии. Ремесленные корпорации блокировали полное отделение прямых производителей от средств производства, что было предварительным условием капиталистического способа производства как такового в рамках городской экономики: они были определены постоянным единством ремесленников и их инструментов, которое не могло быть разрушено внутри этой структуры. Шерстяная текстильная промышленность в таких развитых центрах, как Флоренция, достигла в некоторой степени протофабричной организации, базирующейся на оплачиваемом труде; но нормой в суконном производстве всегда оставалась надомная система, находившаяся под контролем торгового капитала. Сектор за сектором ремесленники плотно группировались в гильдии, регулировавшие их методы и темп работы согласно корпоративным традициям и обычаям, которые представляли большие препятствия для прогресса в технологиях и эксплуатации. Венецианская суконная промышленность развилась последней и была наиболее конкурентоспособной в Италии в XVI в., когда она отняла рынки у Флоренции и Милана, – возможно, это был наиболее выдающийся коммерческий успех того времени. И все же даже в Венеции ремесленные корпорации также, в конечном счете, представляли непреодолимый барьер для технического прогресса: там тоже основная часть гильдейского законодательства была нацелена на воспрепятствование любым инновациям²⁰¹. Собственно промышленный капитал функционировал, таким образом, в рамках ограниченного пространства, с небольшой возможностью расширения производства: конкуренция с более свободными, расположенными за границами города (в сельской местности и за рубежом) предприятиями с более низкой стоимостью производства, в конечном счете, разрушила его. Торговый капитал процветал дольше, потому что торговля не была скована такими ограничениями; но и он также расплатился за свою техническую инерцию, когда морское доминирование перешло от средиземноморского к атлантическому судоходству с появлением более быстрых и дешевых видов морского транспорта, созданных голландцами и англичанами²⁰². Банковский капитал поддерживал уровень дохода дольше всех, потому что он был наиболее отделенным от материальных процессов производства. Все же его паразитическая зависимость от международных дворов и армий делала его особенно уязвимым перед их превратностями. Судьбы Флоренции, Венеции и Генуи – жертв английского и французского суконного производства, португальского и англо-голландского судоходства и испанского банкротства – хорошая иллюстрация этого тезиса.

Экономическое лидерство ренессансных городов Италии было очевидным. В то же самое время политическая стабилизация республиканских олигархий, которые обычно являлись результатом борьбы между патрициатом и гильдиями, оказывалась трудной задачей: социальное недовольство ремесленных масс и городской бедноты всегда оставалось ниже поверхности городской жизни, готовое взорваться снова в случае кризиса, всякий раз, когда установившийся круг властей раскалывался на фракции²⁰³. В конечном счете значительный

²⁰¹ *Cipolla C. M. The Decline of Italy //Economic History Review. Vol. g. № 2.1952. P. 183.* Гильдии, работавшие в отраслях экспорта тканей, поддерживали высокие уровни качества и выступали против снижения заработной платы: их ткани никогда не менялись, чтобы приспособиться к изменениям моды. В результате итальянские драпировки, дорогие и вышедшие из моды, обесценились и были вытеснены с рынка.

²⁰² *Lane F. Discussion //Journal of Economic History. Vol. XXIV. December 1964. № 4. P. 466–467.*

²⁰³ Увеличение политических контактов между городами и их соперничество также играли важную роль в появлении синьории в этот период: «Все синьории Северной Италии, все без исключения, рождаются с прямой или опосредованной

рост масштаба и интенсивности военных действий с появлением полевой артиллерии и профессиональной пехоты, вооруженной пиками, привел к тому, что скромные оборонительные способности маленьких городов-государств все более устаревали. Итальянские республики стали еще уязвимее в военном плане, когда в начале Нового времени начала расти численность и огневая мощь европейских армий. Эти угрозы и проблемы, заметные в той или иной степени в разные периоды в северных и центральных городах, создали условия для дальнейшего подъема синьорий.

Социальное происхождение выскочек-лордов, обнаружившихся в разных городах, связано с сельской феодальной глубинкой. Сеть коммун никогда не покрывала север и центр полуострова полностью; между ними всегда оставались огромные сельские пустоши, над которыми господствовала сеньориальная знать. Она обеспечивала аристократическую поддержку кампаний Гогенштауфенов против городов гвельфов, и происхождение синьорий может быть прослежено от союзов знати или лейтенантов Фридриха II в менее урбанизированных регионах Салюццо или Венето²⁰⁴. В Романье значительное расширение коммун в сельской местности, путем создания подчиненных *contado*, привело к завоеванию городов сельскими лордами, чьи земли были включены в них²⁰⁵. Большая часть первых тиранов, появившихся на севере, были вассалами или кондотьерами, которые захватили власть в период пребывания в должностях *подеста* или *капитана* городов; во многих случаях, они завоевывали временную популярность вследствие подавления ненавидимых городских олигархов или восстановления гражданского порядка после вспышек фракционного насилия между предыдущими правящими семьями. Почти всегда они создавали увеличенный военный аппарат, лучше приспособленный к современным потребностям войны. Их провинциальные завоевания сами по себе приводили к увеличению веса аграрной составляющей в городах-государствах, которыми они теперь управляли²⁰⁶.

Связь синьорий с землями, откуда они получали войска и доходы, оставалась тесной, о чем свидетельствовало распространение этой модели. Возникнув в более отсталых районах Северной Италии, проходящих вдоль Альп на западе и доходивших до дельты реки По на востоке, княжеская власть двигалась к центру политической сцены с Висконти, захватившими Милан – некогда душу коммун Ломбардской лиги, – в конце XIII в. Милан, после того, всегда оставался самым стабильным и мощным княжеством среди крупных итальянских городов из-за своего специфического государственного устройства. С одной стороны, он не был ни морским портом, ни крупным промышленным центром, его отрасли промышленности были многочисленными и преуспевающими, но в то же время небольшими и раздробленными. С другой стороны, он обладал наиболее обширной сельскохозяйственной территорией в Италии, с орошаемыми лугами в Ломбардской долине, которая могла противостоять аграрной депрессии XIV в., возможно, лучше, чем любой другой регион в Европе. Милан, имевший крупнейшую долю сельского хозяйства в богатстве среди больших ита-

помощью силы, посторонней для городов, которые являются театром нового владения». *Sestan E. Le Origini delle Signorie Cittadine: Un Problema Storico Esaurito? //Bollettino dell' Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. № 73. 1961. P. 57. Пример Флоренции см. ниже.*

²⁰⁴ *Jordan E. Les Origines de la Domination Angevine. Vol. I. P. 68–72, 274.*

²⁰⁵ *Lamer J. The Lords of the Romagna. London, 1965. P. 14–17, 76.*

²⁰⁶ Контраст между итальянскими и немецкими городами в этом отношении особенно заметен в XV в. Рейнские и швабские города никогда не обладали, как мы увидим, аграрной периферией, которая отличала их партнеров в Ломбардии и Тоскане. Их экономический внутренний район, с другой стороны, включал горнодобывающий комплекс (серебро, медь, олово, цинк и железо) такого типа, которого не было в Италии, и развивал металлургическую промышленность значительно более быстрыми темпами, чем что-либо к югу от Альп. Таким образом, в то время как в итальянских городах были распространены профессиональные объединения, немецкие города этого периода были местом наибольшего скопления технических изобретений в Европе: печатание, переработка руды, выплавка металлов, артиллерия, часовое ремесло – фактически все ключевые технологические усовершенствования этого периода были впервые изобретены или усовершенствованы в немецких городах.

льянских городов, был естественным плацдармом для первой имевшей международное значение синьории на Севере. К концу XIII в. большая часть Италии, расположенная выше Апеннин, попала в руки мелких лордов или военных авантюристов. Тоскана сопротивлялась последующие сто лет, но в течение XV в. она тоже уступила позолоченным тираниям. Флоренция, крупнейший промышленный и банковский центр полуострова, в конечном счете упала в спокойные наследственные руки Медичи, хотя не без эпизодов республиканского рецидива: дипломатическая и военная защита со стороны династии Сфорца – правителей Милана²⁰⁷, и давление на Римских Пап из семьи Медичи были необходимы, чтобы обеспечить окончательную победу княжеского режима во Флоренции. Сам Рим в правление Папы Юлия II делла Ровере в начале XVI в. впервые поменял политическую и военную структуру Папского государства в форме близкой к той, что применялась к враждующим силам за Тибром. Очевидно, две морские республики, Венеция и Генуя, в одиночку противостояли приходу нового типа двора и правителя – в силу относительной нехватки сельских территорий, окружавших их. Венецианская *Serrata*, тем не менее, создала крошечную наследственную клику правителей, которая заморозила политическое развитие города и доказала невозможность интеграции владений Республики с любым современным унитарным государством²⁰⁸. Генуэзский патрициат, наемники и асоциальные элементы выжили в машине испанского империализма. Повсюду в других местах города-государства исчезли.

В культурном плане Ренессанс достиг своего апогея в финальном акте итальянской городской цивилизации прежде, чем начались новые «варварские» вторжения из-за Альп и со стороны Средиземного моря.

Княжеский и клерикальный патронаж новых великолепных дворцов полуострова щедро инвестировал в искусство и литературу: благополучателями были архитектура, скульптура, живопись, филология и история в теплоте аристократической атмосферы эрудиции и этикета. В экономическом плане медленная стагнация техники и предприятий была скрыта за резким подъемом в остальной Западной Европе, который продолжал расширять спрос на итальянские предметы роскоши, после того как внутреннее производство прекратило вводить новшества и обеспечило показное богатство синьорий. Но в политическом плане потенциал этих субкоролевских государств оказался очень ограниченным. Мозаика коммун на севере и в центре открыла путь меньшему числу объединенных городских тираний, которые в дальнейшем участвовали в постоянных войнах и интригах друг против друга, чтобы получить господство над Италией. Но ни одно из пяти крупных государств на полуострове – Милан, Флоренция, Венеция, Рим и Неаполь – не усилилось настолько, чтобы победить других или даже поглотить множество мелких княжеств и городов. Возвращение Джана Галеаццо Висконти в Ломбардию, под объединенным давлением со стороны его противников на рубеже XV в., обозначило конец наиболее перспективной претензии на господство. Непрерывная политическая и военная конкуренция между государствами средней силы, в конечном счете, достигла сомнительного равновесия после заключения в Лоди договора в 1451 г. К этому времени города эпохи Ренессанса уже развили основные инструменты светского искусства управления государством и агрессии, которые они завещали европейскому абсолютизму – наследие, огромное значение которого уже было понятно. Фискальные сборы, финансовые долги, продажа должностей, иностранные посольства, шпионские агентства – все это впервые появилось в итальянских городах-государствах в качестве репетиции в

²⁰⁷ Осмотрительное доминирование Козимо де Медичи во Флоренции, осуществлявшееся через электоральные манипуляции, соответствовало сравнительной слабости социальной базы власти семьи. Только Лоренцо согласился мирно принять власть из-за угрозы миланского вмешательства в его пользу. О характере главенства Медичи во Флоренции и их поддержке со стороны Милана см.: *Rubinstein N. The government of Florence under the Medici (1434–1494). Oxford, 1966. P. 128–135, 161, 175.*

²⁰⁸ См. проницательный комментарий *Procacci G. Storia degli Italiani. Vol. I. P. 144–147.*

уменьшенном масштабе будущей большой международной государственной системы и ее конфликтов²⁰⁹.

Тем не менее режим синьории не мог изменить основных параметров тупика в итальянском политическом развитии, который наступил после провала проекта унитарной имперской монархии в эпоху Гогенштауфенов. Коммуны были структурно неспособны достичь объединения полуострова из-за их очень раннего городского и торгового развития. Синьории вернули политическое влияние сельскому и сеньориальному окружению, в которое они были включены. Но настоящая социальная победа деревни над городом была невозможна в Северной и Центральной Италии: привлекательность городов была значительно большей, в то время как местный землевладельческий класс не сумел создать наследственную феодальную аристократию с чувством кастовой солидарности (*esprit de corps*). Одни лорды, которые захватили власть в республиках, часто были наемниками, выскочками или авантюристами, другие влиятельными банкирами и купцами. Суверенитет синьорий, следовательно, был всегда, в глубоком смысле, нелегитимным²¹⁰: он опирался на силу и мошенничество, без какой-либо коллективной социальной санкции, аристократической иерархии или долга, стоявшего за ним. Новые княжества уничтожили гражданскую жизненную силу республиканских городов; но они не могли полагаться на лояльность и дисциплину подчиненной феодалу сельской местности. Таким образом, несмотря на использование ими преувеличенно новых средств и методов, а также их знаменитое введение в обиход чистой «силовой политики», синьории были, по существу, неспособны воспроизвести типичную государственную форму раннего Нового времени, унитарный королевский абсолютизм.

Именно запутанный исторический опыт этих владений произвел на свет политическую теорию Макиавелли. Традиционно рассматриваемая как отправная точка современного политического реализма (*Realpolitik*), предсказавшая практику светских монархий абсолютистской Европы, она была на самом деле программой идеализированной общеитальянской или, возможно, только центральноитальянской синьории незадолго до исторического краха этой общественной формы²¹¹. Живой интеллект Макиавелли осознавал дистанцию между династическими государствами Испании и Франции и провинциальными тираниями Италии. Он заметил, что французская монархия была окружена могущественной аристократией и основывалась на прикладной законности: чрезвычайное влияние знати и законов было ее отличительной чертой. «Король Франции, напротив, окружен многочисленной родовой знатью, привязанной и любимой своими подданными и, сверх того, наделенной привилегиями, на которые король не может безнаказанно посягнуть. <...> Монархическая власть сдерживается во Франции законами более, чем в каком-либо из известных нам нынешних царств»²¹². Но он не смог понять, что сила новых территориальных монархий лежала именно в этом сочетании феодальной знати и конституционной легитимности; он считал, что французские парламенты были просто королевским фасадом для запугивания аристократии и умиротворения масс²¹³. Отвращение Макиавелли к аристократии было столь глубоким и обобщенным,

²⁰⁹ См.: Mattingly G. Renaissance Diplomacy. London, 1065. P. 58–60.

²¹⁰ Конечно, степень и вид этой незаконности различны; в Романье местные тираны постепенно приобрели определенные династические нормы к XV в.: Lerner J. The Lords of the Romagna. P. 78, 154.

²¹¹ Самый авторитетный исследователь Макиавелли Шабо (Chabod) считал, что верно второе, и Макиавелли выступал за создание сильного княжества в Центральной Италии, а не государства в масштабах полуострова: *Scritti su Machiavelli*. Turin, 1965. P. 64–67.

²¹² *Machiavelli N. Il Principe e Discorsi sopra la Prima Deca de Tito Livio* (Introduction by Giuliano Procacci). Milan, 1960. P. 26, 262. Это лучшее из последних изданий. Русский перевод цит. по: Макиавелли Н. Государь: Соч. М.; Харьков, 2001. Перевод Г. Муравьевой («Государь»), Р. Хлодовского («Рассуждения о первой декаде Тита Ливия»).

²¹³ *Il Principe e Discorsi*. P. 77–78 Понимание Макиавелли природы и роли французского дворянства было, в конечном счете, неуверенным и путаным. В своей *Ritratto di Cose di Francia* он описывает французскую аристократию как «чрезвычайно послушную» (*ossequentissimi*) в отношении монархии, что полностью противоречит его позднейшим замечаниям,

что он мог объявить дворян-землевладельцев несовместимыми с любым стабильным или жизнеспособным политическим порядком: «республики, сохранившие у себя свободную и неиспорченную политическую жизнь, не допускают, чтобы кто-либо из их граждан был дворянином или же жил на дворянский лад. <...> Дабы стало совершенно ясно, кого обозначает слово „дворянин“, скажу, что дворянами именуются те, кто праздно живут на доходы со своих огромных поместий, нимало не заботясь ни об обработке земли, ни о том, чтобы необходимым трудом заработать себе на жизнь. Подобные люди вредны во всякой республике и в каждой стране. Однако самыми вредными из них являются те, которые помимо указанных поместий владеют замками и имеют повинующихся им подданных. <...> подобная порода людей – решительный враг всякой гражданственности»²¹⁴. С завистью оглядываясь на немецкие города, в которых не было вообще сеньориальной периферии²¹⁵, он сохранял некоторый ностальгический республиканизм, состоявший из исчезающих остатков памяти о республике, управлявшей Содерини, которой он служил, и почтения антиквара перед древней героической эпохой Рима, описанной Ливием.

Но макиавеллевский республиканизм в *«Размышлениях»* был преимущественно сентиментальным и случайным. Во всех политических режимах господство принадлежало небольшой правящей группе: «Во всех республиках, как бы они ни были организованы, командных постов достигает не больше сорока-пятидесяти граждан»²¹⁶. Огромная масса населения, находящаяся ниже этой элиты, заботилась только о своей собственной безопасности: «подавляющее большинство стремится к свободе ради своей безопасности». Успешное правительство всегда могло подавлять традиционные свободы до тех пор, пока оно не трогало собственность и семьи своих подданных; оно должно стараться поддерживать их экономические предприятия, поскольку они вносили бы вклад в его собственные запасы: "Государь должен внушать страх таким образом, чтобы если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушить страх без ненависти. Чтобы избежать ненависти, Государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин»²¹⁷. Эти принципы были верны для любой политической системы – княжества или республики. Республиканские конституции, те не менее, были приспособлены только для собственной долговечности: они могли сохранить существующее государство, но не создать новое²¹⁸. Чтобы основать итальянское государство, способное противостоять варварским захватчикам из Франции, Швейцарии и Испании, была необходима сосредоточенная воля и безжалостная мощь единого правителя. Реальная страсть Макиавелли лежит здесь. Его предписания, по существу, адресованы архитектору – очевидно, выскочке-парвеню – будущего полуостровного государства. В начале *«Государя»* он заявляет, что в трактате будут рассмотрены два типа устройства княжества, «наследственное» и «новое», и не упустит из виду разницу между ними. Но первостепенной целью работы, доминирующей во всем его тексте, по сути, является создание нового княжества, задачи, решение которой Макиавелли считал величайшим достижением любого правителя: «Если новый Государь разумно следует названным правилам, он скоро утвердится в государстве и почувствует себя в нем прочнее и увереннее, чем если бы получил власть по наследству. Ибо новый Государь вызывает большее любопытство, чем наследный правитель, и если действия его исполнены доблести, они куда больше захватывают и привлекают людей,

процитированным выше. См. *Arte della Guerra e Scritti Politici Minori*. Milan, 1961. P. 164.

²¹⁴ *Il Principe e Discorsi*. P. 256.

²¹⁵ *Ibid.* P. 255–256.

²¹⁶ *Ibid.* P. 176.

²¹⁷ *Ibid.* P. 70.

²¹⁸ *Ibid.* P. 265.

чем древность рода. <...> И двойную славу стяжает тот, кто создаст государство и укрепит его»²¹⁹.

Скрытый сдвиг фокуса очевиден в книге. Так, Макиавелли определяет две главные основы правительства – «хорошие законы» и «хорошая армия»; но он сразу же добавляет, что до тех пор, пока принуждение создает законность, и не наоборот, он будет рассматривать только принуждение. «Основой же власти во всех государствах – как унаследованных, так смешанных и новых – служат хорошие законы и хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, и наоборот, где есть хорошее войско, там хороши и законы, поэтому минуя законы, я перехожу прямо к войску»²²⁰. Возможно, в наиболее известном пассаже «Государя» он повторяет тот же самый концептуальный сдвиг. Он утверждает, что закон и сила – способы поведения соответственно людей и животных, и правителю следует быть «кентавром», сочетающим то и другое. Но на деле, королевская «комбинация», обсуждаемая им, совсем не кентавр – получеловек-полуживотное, а – вот он, немедленный сдвиг, – сочетание двух животных, «льва» и «лисы» – силы и обмана. «Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: с помощью законов и с помощью силы. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что Государь должен усвоить то, что заключено в природе и человека, и зверя. Не это ли иносказательно внушают нам античные авторы, повествуя о том, как Ахилла и прочих героев древности отдавали на воспитание кентавру Хирону, дабы они приобщились к его мудрости? Какой иной смысл имеет выбор в наставники получеловека-полуживотного, как не тот, что Государь должен совместить в себе обе эти природы, ибо одна без другой не имеет достаточной силы? Итак, из всех зверей пусть Государь уподобится двум: льву и лисе»²²¹. Страх подданных всегда предпочтительнее, чем привязанность; насилие и обман лучше законности позволяет их контролировать. «О людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива <...> любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно»²²².

²¹⁹ II Principe e Discorsi. P. 97. Сравните этот тон с Боденом: «Тот, кто, опираясь только на свою собственную власть, становится суверенным правителем, без выборов, наследственного права, жеребьевки, а только в результате войны и специальных божественных воззваний, является тираном». *Les Six Livres de la Republique*. P. 218, 211.

²²⁰ II Principe e Discorsi. P. 53.

²²¹ II Principe e Discorsi. P. 72.

²²² Ibid. P. 69–70.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.